

**ВАСИЛИЙ  
АВЕНАРИУС**

ТРИ ВЕНЦА

За царевича

Василий Авенариус

**Три венца**

«Public Domain»

1901

## **Авенариус В. П.**

Три венца / В. П. Авенариус — «Public Domain», 1901 — (За царевича)

«Тяжелые времена переживала земля русская в последние годы царствования Бориса Годунова. В течение всего лета 1601 года шли проливные дожди, не давая вызреть хлебам; в середине же августа, под праздник Успения Богородицы, побил морозом весь хлеб на корню. Прошлогодние запасы дали еще земледельцу прожить впроголодь до весны и засеять поля старым зерном; но за первым недородом последовали два года совсем неурожайные, голодные: лежалое зерно не взошло, а засеять землю-кормилицу сызнава было уже нечем...»

## Содержание

Часть первая	5
Вступление	5
Глава первая	7
Глава вторая	11
Глава третья	14
Глава четвертая	18
Глава пятая	21
Глава шестая	24
Глава седьмая	28
Глава восьмая	33
Глава девятая	36
Глава десятая	39
Глава одиннадцатая	44
Глава двенадцатая	47
Глава тринадцатая	50
Конец ознакомительного фрагмента.	51

# **В. П. Авенариус**

## **За царевича**

### ***(Историческая повесть из времен первого самозванца)***

#### **Часть первая**

#### **Царский венец**

#### **Вступление**

Тяжелые времена переживала земля русская в последние годы царствования Бориса Годунова. В течение всего лета 1601 года шли проливные дожди, не давая вызреть хлебам; в середине же августа, под праздник Успения Богородицы, побил морозом весь хлеб на корню. Прошлогодние запасы дали еще земледельцу прожить впроголодь до весны и засеять поля старым зерном; но за первым недородом последовали два года совсем неурожайные, голодные: лежалое зерно не взошло, а засеять землю-кормилицу сызнова было уже нечем.

Открылся лютый голод и мор. С отменой Юрьева дня крестьяне и холопы хотя и были теперь, казалось, бесповоротно закреплены за своими барами, но голод порвал эти насильственные узы: закрепощенные самовольно разбегались; сами бары гнали их от себя, чтобы избавиться от лишних ртов.

По лесам завелись разбойничьи шайки, от которых не было проходу ни пешему, ни конному. По городским улицам, по большим дорогам брели толпами нищие, оглашая воздух раздирательными воплями о куске хлеба. Десятками, сотнями падали они на пути в предсмертных корчах, и во рту у них находили траву, кору древесную, солому, землю. Лошадиное мясо, мясо собак, кошек, крыс почиталось за лакомство.

Напрасно царь Борис дал тысяче-другой трудового люда работу над постройкою большого каменного здания в Кремле; напрасно, изо дня в день, раздавал он от щедрот своих милостыню, раскрыл царские житницы – все это было каплею в море и не могло существенно ослабить общее народное бедствие. Отовсюду только и слышалось, что люди пухнут от голода и на третий-четвертый день отдают Богу душу. Голодный тиф выродился в чуму, и народ вымирал целыми семьями. В одной Москве, на глазах, так сказать, царских, перемерло (по словам бытописца того времени Петрея) до полумиллиона людей; о дальних, глухих местах и говорить нечего.

Трехгодичные непрерывные лишения отразились не только на телесном здравии народном, но и на духовном: развратили в народе коренные его верования, помutilи его природный светлый ум. Кто мог быть виновником этого гнева Божьего на всех православных, как не тот, кто был поставлен самим Богом пещись о благе их? Снова всплыли и жадно передавались из уст в уста забытые пересказы о совершенном за 12 лет назад в городе Угличе убийстве царевича Димитрия, сына и прямого наследника приснопамятного царя-мучителя, Ивана Васильевича. Кому могло быть на потребу то убийство, как не ему одному, правителю Борису Годунову, который затем уже беспрепятственно мог дать выбрать себя в цари? А теперь вот, за вину его тяжкую, Господь ниспослал кару на всю землю русскую: зачем-де выбрали, посадили на пре-

стол душегубца! Что в том, что он всякими добрыми делами мнит искупить свой старый грех? Не искупить, злодей, не замолить!

Среди такого-то ропота и брожения народного, с границ литовских пронесся вдруг совершенно невероятный, дивный слух, что будто бы царевич Димитрий вовсе не погиб, что он спасся от подсланных Годуновым убийц и проживает на Литве. Отрадный слух этот был, однако же, еще так смутен, что никто почти на Руси не смел ему верить.

Между тем по ту сторону границы, в Малой Польше, на Волыни, молва приняла уже более осязательный образ: находились люди, имевшие случай своими глазами видеть человека, выдававшего себя за покойного сына Грозного царя. Наслышался о нем, хотя еще его и не видел, и молодой герой нашего рассказа, с которым мы сейчас познакомим читателей.

## Глава первая

### Единоборство с Турицей

Туры (нынешние зубры, сохранившиеся в наше время в Западном крае, как зоологическая редкость, в одной только Беловежской пуще, Гродненской губернии) триста лет назад водились не только по всей дремучей, непролазно-болотистой чаще обширного бассейна Припяти, так называемого «Полесья» (обнимающего южные уезды губерний Гродненской и Минской и северные – губерний Киевской и Волынской), но были обычным явлением и за чертою Полесья, на Волыни, в уездах Владимирском и Дубенском, как показывают самые названия местных поселений: «Турийск», «Турья», «Затурцы», «Туричаны», «Туриковичи», «Турье поле» и проч. Где теперь по зыбучим пескам пролегает почтовый тракт с одинокими ветлами, ясенями, грабами и с неизбежною телеграфною нитью, а на много верст кругом осиротело чернеют такие же свидетели новейшей цивилизации – обрубленные древесные пни, там когда-то, продолжением Полесья, расцветали роскошные дубовые и сосновые леса, в которых был настоящий вод всякому зверю.

В таком-то бору, в болотистой долине, тянущейся от Козина на Вербу и далее на Острог, на обрывистом берегу реки Иквы под вечер знойного июльского дня паслась матерая турица со своим трехдневным сосуном. Отбившись от своего стада, она настолько, видно, доверяла собственной силе, чтобы не страшиться внезапного нападения со стороны единственного опасного врага туров – человека. Да и где было взяться человеку? Первобытную гушину этого векового леса никогда еще, казалось, не переступала нога человечья. Даже птичий свист и гам понемногу умолк. Изредка только постукивали еще там и сям неугомонные дятлы; да из трясины с разных сторон тянули свои гнусливые ноты болотные органисты – жабы. В неподвижном воздухе чувствовалась удушливая вечерняя сырость: тяжелые испарения болотистой почвы расстилались кругом прозрачным туманом и, словно порожденные ими, рои коромыслов и мелких мошек взвивались к гаснущему небу, чтобы поиграть еще над ярко озаренными верхушками бора в последних лучах уходящего солнца.

Вдруг предательский звук обратил внимание турицы. Она вскинула свою могучую косматую голову с криво загнутыми назад рогами и пытливо-гордо повела белками больших выпуклых глаз по темнеющей чаще. Но в тот же миг оттуда блеснул огонь, грянул выстрел – и, пораженная пулей в грудь, турица со стоном упала на передние колена.

Неожиданный гром выстрела вспугнул в ближнем лозняке стаю диких уток. С шумным взмахом крыл, дружно крикая, взвились они над излучиной реки и понеслись в сторону, чтобы опуститься в камыши где-нибудь в более безопасном месте.

Турица, исходя кровью, стояла по-прежнему неподвижно, как вкопанная, на передних коленях. Между деревьями показался враг ее – великан и атлет. Годами он был еще юн – лет никак не более двадцати. Сильно загорелое и обветрившееся лицо было опушено начинающейся светло-русой бородкой; высокий, без малого в сажень, стан его, затянутый сверх кожуха поясом, был юношески тонок и строен. Но в плечах молодой человек был уже так широк, грудь его была так высока, что и теперь он мог почитаться богатырем. Станный, можно сказать, дикий наряд его придавал ему вид еще более внушительный: волчий кожух шерстью вверх, берестовая шапка набекрень, за поясом длинный нож, в руках дымящийся еще самопал – делали из него если не разбойника, то по меньшей мере одичалого полещука, дикаря. Но в молодом лице его не было ничего зверского: крупные, но правильные черты его, напротив, поражали каким-то врожденным благородством, а смелый взгляд голубых глаз был так ясен и прямодушен, что отнюдь не мог принадлежать душегубцу.

Большими шагами приблизился дикарь к подстреленному зверю. Теперь только, казалось, заметил он около турицы теленка-сосуна, который, в безотчетном страхе, прижался к боку матери.

– А, бедняженька! – с участием промолвил он, – знал бы, так пожалуй не тронул бы ее, твоей кормилицы.

Он наклонился к туренку, чтобы погладить его. Пораженная уже насмерть, но еще державшаяся на коленях турица неверно поняла его движение и, чтобы заслонить свое детище от собственного ее убийцы, с последним напряжением сил рванулась к нему с земли. Молодой человек едва успел увернуться, чтобы не быть сбитым с ног. Выхватить нож, замахнуться прикладом ружья – у него не достало уже времени. Удалось ему только одно – поймать разъяренное животное за рога.

Для обыкновенного смертного меряться силами с царем Полесья, туром, хотя бы и тяжелораненым, – было бы, разумеется, безумством. Для полещука-богатыря это был, видно, только новый, но тем более заманчивый способ борьбы, из которого он, как всегда, ожидал выйти победителем.

Неожиданно задержанная в движениях своим противником, не выпускавшим рогов ее из своих жилистых рук, турица яростно мотала головой, опущенной, против воли ее, долу, взрывала копытами землю и что есть мочи напирала на врага. Тот, однако, с эластичностью молодости слегка уступая ее буйному напору, вместе с тем ни на миг не выпускал ее из своей власти. Как два испытанные бойца, водили они друг друга; но дикарь очень ловко пользовался каждым передвижением турицы, чтобы мало-помалу оттеснить ее к обрывистому берегу реки. Силы видимо начали изменять ей. Истекая кровью, она раз уже спотыкнулась и, как бы призывая на помощь отсутствующих членов родного стада, издала протяжное глухое мычание.

Молодой человек, впрочем, также донельзя истомился; он просто задыхался, и по разгоряченному лицу его пот струился в три ручья. Но перевес был уже явно на его стороне: от задних копыт животного до края обрыва оставалось не более двух шагов.

Надо было разом порешить бой. Дикарь напряг мышцы до крайней степени и с такою стремительностью приподнял турицу за рога на дыбы, с такою Мощью толкнул ее руками в грудь, что она запрокинулась назад, передние ноги ее мелькнули в воздухе, задние сорвались с обрыва – и бой был окончен: увлекая за собой землю и камень, турица шумно скатилась с невысокого, но довольно крутого берега в самую реку, и воды с плеском расступились перед ее грузным телом.



*Дикарь приподнял турицу за рога на дыбы*

Стрелок наш глубоко перевел дух, поднял с земли брошенный перед тем самопал и стал наскоро заряжать его. В пороховнице у него оказалось пороху не более, как на один заряд. – Все одно пришлось бы к жиду идти, – пробормотал он про себя.

Между тем турица, ошеломленная падением с высоты, словно оправилась еще раз и показалась из-под воды. Иква в этом месте довольно мелководна, и поверхность ее была затянута сплошной сетью водорослей, осоки, камыша, водяных лилий. Поднявшись на ноги, турица тяжело зафыркала мокрыми ноздрями и двинулась к берегу, унося на своих кривых рогах и широкой спине целый цветник речных трав и цветов. Но, ступив уже передними копытами на сушу, она вдруг зашаталась, протяжно, как бы укоризненно замычала и стала падать, падать, пока совсем не повалилась на бок, чтобы уже не встать.

В ответ ей дикарь услышал около себя тоненькое, но не менее жалобное мычание, и не успел оглянуться, как из-под ног его к обрыву юркнул сосун-туренок, про которого он, в разгаре боя, совсем было забыл. Предсмертный зов матери преодолел у маленького бычка всякий страх перед крутизной, и он кубарем, по-видимому благополучно, скатился к самой воде. Молодой человек в два прыжка последовал за ним.

Турица испустила последний вздох. Туловище ее лежало еще наполовину в воде; но увенчанная водорослями и лилиями, могучая, красивая голова ее покоилась среди примятых береговых трав, а наклонившийся над нею сосун лизал ее в толстые, мокрые губы, точно ожидая этой детской лаской пробудить ее снова к жизни.

– Шабаш, милый, не разбудишь! – сказал дикарь, участливо кладя руку на голову осиротевшего бычка.

В младенческом неведении своем, бычок точно также облизал эту безжалостную руку, сейчас только уложившую наповал его мать. Незаслуженная нежность со стороны обиженного им маленького зверя тронула, пристыдила молодого убийцу.

– Прости меня! Я тебя уже не брошу, – вслух уверил он сироту, точно бычок мог понять его. – Но куда мне в лесу деться с тобой?

Минутку дикарь простоял в раздумье.

– Да, так будет всего лучше, – решил он, – Рахиль, я знаю, не откажется взять тебя.

Закинув за плечи самопал, он снял с себя пояс, перевязал им четыре ноги туренка, как тот ни мычал, ни брыкался, взвалил его себе на спину и, бросив последний взгляд на бездыханное тело побежденного врага, вскарабкался на берег, чтобы направиться к выходу из лесной чащи.

## Глава вторая

### Туренок

Верстах в четырех-пяти от того места, где происходила описанная сейчас сцена, почва становилась холмистой, и густая чаща все более редела, пока на вершине одного пригорка совсем не прервалась. Здесь, на перепутье двух дорог, от Дубна на Кременец и Вишневец и от Острога на Броды, Львов и Самбор, стояла одинокая еврейская корчма. Два исполина-дуба, распустившие свои широкие зеленые ветви над крутою соломенной крышей, над покосившимся крыльцом, придавали издали грязной корчме довольно укромный, почти нарядный вид.

Солнце только что село, и маленькие слюдяные окна «парадных» горниц корчмы горели ослепительным багрецом отражавшейся в них вечерней зари, когда вышел из лесу на дорогу наш молодой стрелок со своей живой добычей за плечами. Не доходя полусотни шагов до невысокой околицы, он вдруг остановился: на глаза ему попалась, под боковым навесом корчмы, запряженная фура. Точно не желая столкнуться с посторонними людьми, дикарь оглянулся назад на лес, потом опять на корчму, видимо колеблясь: идти ли еще вперед или нет? Но четвероногий младенец забарахтался у него за спиной и прекратил тем его Нерешительность. Молодой человек пошел вперед и, войдя в околицу, направился обходом к задним дверям дома.

Но это ему ни к чему не послужило. Лежавший на цепи у своей конуры около переднего крыльца большой мохнатый волкодав завидев его уже и залился хриплым лаем. На крыльце появилась Рахиль, молодая дочка содержателя корчмы, Иоселя Мойшельсона, цыкнула на собаку и пошла навстречу к пришельцу. В черных глазах ее светилась непритворная радость; на смуглых щеках выступил яркий румянец.

– Что тебя долго видать не было, Михайло? – с ласковым укором спросила она его. Обратилась она к нему на местном малорусском наречии не без заметного, разумеется, еврейского акцента.

Хотя давеча в лесу сам с собою Михайло и говорил по-русски, но на вопрос девушки ответил также по-малорусски.

– Да нынче только весь порох вышел. А вот Рахиль, подарок тебе – туренок.

– Какой душко! Где взял ты его?

Говоря так, Рахиль приняла уже маленькое животное с рук на руки от Михайлы, присела к земле, распутала ему ножки и, как ребенку, помогла ему встать. Туренок поднял кверху мордочку и жалобно замычал.

– Матку зовет свою, не дозвется, – сказал Михайло, – убил я ее, вишь, сейчас только. Самому теперь жаль, право! Вырасти-ка его, Рахиль; только чур, не зарежь.

– Сама-то ни за что не зарежу, молочком бы от коровы нашей выкормила; да не знаю, как татэ мой... Татэ! Смотри-ка, какого славного зверька принес он мне, – крикнула она по-еврейски отцу, вышедшему в это время также на крыльцо.

Иосель Мойшельсон, тщедушный и сторбленный старик-еврей, в засаленном ветхозаветном лапсердаке, с выбивавшимися из-под черной ермолки кудрявыми пейсами, защитил рукой, как щитком, свои красные, с красными же веками глаза от яркого зарева заката и нимало, казалось, не разделял восхищения дочери.

– Пхэ! – сказал он, нервически моргая глазами и подергивая плечом. – Куда нам с ним? На жаркое еще не гожд.

– Михайло вон просит вырастить его...

– Вырастить! А чем ты, Михайло, нам за то заплатишь?

– Да хоть турицу, что ли, даром уступлю вам, что уложил давеча в бору, – с пренебрежением ответил дикарь. – Дайте мне только фунтов десять пороху да пуд хлеба.

Иосель Мойшельсон, в знак удивления такому несообразному требованию, растопырил пальцы веером в пространстве.

– Ты хорошо хандлюешь! Може, и турицы никакой нема?

– Сам плут естественный, так и другим на слово не веришь? – гаркнул тут кто-то за спиною содержателя корчмы и дал ему при этом сзади такой тумак, что еврей отлетел в сторону и должен был ухватиться за перила крыльца.

На пороге стоял, с дымящейся короткой «люлькой-носогрейкой» в зубах, коренастый, плечистый и пузатый казак, заслоняя своим тучным корпусом весь вход в корчму. Громадные, закрученные вниз згугтами усы, сизый как зрелая слива нос, густые, нависшие брови и толстая «чупрына» на макушке, замотанная за ухо, придавали ему лихой, почти свирепый вид. Только в нахмуренных карих глазах его просвечивало свойственное малороссу добродушное лукавство.

– Так ты, братику, сейчас только турицу убил? – отнесся он к дикарю, вынимая изо рта люльку и широко потягиваясь.

– А уж, право, не знаю, – ответил Михайло, подходя ближе к крыльцу, – я ль ее убил, сама ли убилась.

– Сама? Как же так-то?

Михайле пришлось рассказать о своем единоборстве с турицей. Хотя он, очевидно, не помышлял о самохвальстве и не придавал значения своему молодечеству, но, увлекшись собственным повествованием, невольно все-таки передал дело в таких живых красках, что слушатели увидели его в самом выгодном свете. Рахиль слушала его с затаенным дыханием, не отрывая с уст его своих блестящих глаз и сложив набожно руки, точно молясь на молодого богатыря. Отец ее только потряхивал наклоненной к плечу головой, не то удивляясь, не то сомневаясь в возможности такой безумной удали. Казак же, как знаток дела, попросту упивался рассказом, причмокивал, побрякивал, притопывал и подбадривал рассказчика возгласами: «Оце добре! Дуже лихо!»

– Вели ж своим хлопцам запрячь телегу да ехать за мной в лес, – заключил дикарь рассказ свой, обращаясь опять к корчмарю. – А сам отпусти-ка мне пороху да хлеба.

– Ото глупство! Сейчас ночь на дворе: еще с телегой в болоте увязнут.

– Так пошли поутру, что ли. Мне ждать недосуг.

– Нет, друже: до утра сам уж погоди. Не найти им без тебя и на телегу не поднять. Пороху же я тебе дам фунт целый, а хлеба десять фунтов. Хорошо?

– Сказано раз – десять фунтов и пуд, – решительно настаивал на своем Михайле.

– Ну, два фунта и полпуда? Далибуг (ей Богу), себе в убыток.

– Христопродавец окаянный! – крикнул тут слышавший весь торг казак и схватил торгоша за шиворот. – Дашь ты ему чего нужно, али нет?

– Дам, все дам! Нехай будет так... Пусты меня только, пане полковнику!

– Не пан я и не полковник, а, слава Богу, казак запорожский! – сказал казак, выпуская его на волю. – Чего стоишь еще, ну? Беги за хлебом и порохом, да живо, чоловиче!

– Сейчас, мосьпане, сейчас... А что, Михайлушка: ведь это же все за одну твою турицу?

– Ну да, – ответил тот, недоумевая.

– А за туренка что?

– Да ведь я же дарю его твоей Рахили.

– Ото подарок! А кормить кто его буде?

– Ах, тателе!.. – вмешалась дочь. Михайло презрительно повел плечом.

– Я, пожалуй, буду носить тебе за него дичину, – сказал он, – только, повторяю, чтобы на нем волоска никто не тронул.

– И ладно! И милый человек! Каждую неделю – по туру либо медведю.

– Что принесу, то и ладно.

– Уй! Этого же никак не можно! Ну, скажем, каждые две недели; хорошо?

– Да что ты, жиде, в кабалу его к себе, что ли взял? – грозно прикрикнул на еврея запорожец и с таким выразительным жестом протянул снова руку к его шее, что тот присел к самому полу и юлой юркнул в корчму.

– Гевалт! Криминал! Не смей меня и пальцем тронуть! В трибунал тебя представлю...

– Что?! Ты еще грозиться? погоди у меня! Сейчас с тобой по-свойски расправлюсь.

Лихой казак ворвался в корчму следом за беглецом, который укрылся уже за своей стойкой.

– Гвоздь на стене есть; не найдется ли где веревочки?

– Пане региментарь! – приосанясь, не без достоинства воззвал тут Иосель Мойшельсон, и только смертная бледность лица и обрывающийся голос выдавали его внутреннюю тревогу. – Я – бедный старик... жить мне и так не долго... Но без меня дочка совсем сиротой станет... Помыслите, что учил сам Христос ваш...

– Ага! Теперь, небось, и про Христа вспомнил!

– Полно же, Данило! За мухой с обухом, за комаром с топором! – послышался тут от окошка благодушный оклик по-русски. – Давеча, знай, во всю глотку зевал, а теперь вон как развоялся!

Данило опустил приподнятый кулак и с усмешкой оглянулся...

## Глава третья В погоне за племянницей

У окна, в переднем углу, за столом, уставленным разной снедью, сидел дородный мужчина лет под пятьдесят с окладистой бородой, с жирно намаасленными волосами, остриженными по-русски в кружок и с срединным пробором. Дорожный охабень купеческого покроя был широко отворочен на груди; выхоленное круглое брюшко, упитываемое теперь вновь, просило простора. Вся фигура его, а того более еще его русская речь, его чистый московский говор обличали в нем коренного русака.

– Садись, что ли, – продолжал купец, указывая на лавку около себя. – Натешился и полно.

– Без острастки, братику, с этим народцем никак Нельзя, – по-русски же отозвался Данило. – И то, право, хотел еще галушек поесть, а теперича в рот куса бы не взял: печенку разбередил мне, бисов сын!

– Ничего, милый, садись, говорят тебе: киселем брюха не испортишь. А где же этот молодец-то, Михайлой звать, что ли? – продолжал купец, обертываясь к выходной двери. – А, здорово, добрый молодец! Жалко: по-нашему, по-русски, чай, не говоришь тоже?

Стоявший в дверях Михайло нерешительно подошел ближе.

– Говорю... Я сам тоже русский.

– Русский! Слава Тебе, Господи! Раз-то хоть опять со своим братом, русским человеком, душу отведешь! Прошу к нашему шалашу, гость будешь.

– Спасибо, почтенный.

Осенься крестом, Михайло подсел также к столу.

– Слышал я, братец, отсюда в окошко, слышал, как это ты им про свалку свою с турицей сказывал, – говорил проезжий, с удовольствием оглядывая статную фигуру молодого полешука. – Хоть сам-то я по-здешнему, по-хохлацкому, говорить не горазд, а понимать понимаю. Отличился, брат, надо признать. Сам я, скажу прямо, ни в жизнь не посмел бы тягаться с таким чудищем, наутек бы пошел. А, да вот и тот самый бычок никак?

Рахиль втащила в это время туренка в корчму.

– Ишь ты, какой ядреный! – восхищался купец. – А что, друг, не предоставишь ли его мне, а?

– Я отдал его уже вон хозяйской дочке.

– Уступи-ка мне его, красавица! – на ломаном малорусском языке обратился к ней гость. – Не знаешь, как удружишь.

– Нет, ни за что! – наотрез отказала молодая еврейка, прижимая к себе туренка.

– Купи, так уступим, – отозвался с другого конца корчмы хозяин.

– За ценой мы не постоим. Что возьмешь за него?

– Но я же не отдам его, татэле! – запротестовала Рахиль.

Жадный содержатель корчмы разразился в ответ целым потоком еврейской брани. Купец только рукой отмахнулся и обратился опять к полешуку:

– А что, добрый молодец, имя-то тебе ведь Михайло?

– Михайло.

– А по отчеству как величать?

– Андреич.

– Михайло Андреич? Так-с. Из каких будешь? Пользуясь тем, что рот у него был набит съестным.

Михайло не торопился с ответом. Сделав из кружки глубокий глоток, он откашлянулся и затем уже ответил:

– Я тут не издалеча: из-под Новограда-Северского.

– Из-под Северского? Да ведь и я тамошний! То-то мне из лица ты с места знаком будто показался. Постой, постой, на кого это ты схож?.. Дай Бог памяти... Да нет, то боярин и князь родовитый. А ты, молодец, ведь не княжеского рода?

– Я – крестьянский сын, – поспешил уверить любопытного опрашиваемый, однако отворотил лицо от окошка, откуда падал на него слишком яркий свет. – Наша деревенька маленькая; ее и в Северском редко кто знает: Березайкой называется.

– Березайкой? Не слыхал что-то. А сюда-то, на Волынь, тебя как занесло? Не от голода ли тоже, от нужды горькой в темный бор бежал?

– От голода, точно, от голодной смерти.

– И дома у себя никого родных не оставил?

– Никого.

– Все от голода же перемерли?

– Все: и родители, и сестра, и два братика.

– Так, милый, так. Много нонече по белу свету вашего голодного брата мыкается. Прогневилы мы, знать, Господа. Грехи наши тяжкие! Ешь, сердечный, кушай во здравие – не обедняешь. А чтоб и тебе тоже знать, с кем хлеб-соль ведешь, и сам скажусь тебе. В Северске бываючи, про купца Биркина, чай, слышал?

– Как не слышать!

– Еще бы нет! Всякий мальчонка уличный тебе пальцем дом Биркина, Степана Маркича, укажет. Ну, этот Биркин, значит, мы самые и есть. Не богатеи какие, а живем в добром достатке, жаловаться не можем. Родом-то из Белокаменной; после отца нас четверо братьев осталось: Иван, Андрей, я – Степан, да Гордей. Но там, в Москве, вместе нам тесно стало. Старший-то, Иван, само собою, отцовскую торговлю принял и один на месте засел. Мы же, прочие, как выделил нас, рассеялись по матушке-Руси, основались кто где: Андрей – в Нижнем; я – в Северском; а меньшей-то, Гордей, сюда, за рубеж, к хохлам перевалил, с ярмарки на ярмарку кочевал да деньгу зашибал, Господь упокой его душу!

Купец Биркин троекратно перекрестился.

– Так его уж и на свете нет? – спросил Михайло. – А я так думал: не к братцу ли ты, Степан Маркич, сюда погостить собрался?

– Нет, самого его не довелось уже увидеть! – со вздохом отвечал Степан Маркович. – И навряд бы удосужился: своих дел – не оберешься. Да вот дочка-то после него, невеста, одна-одинехонька осталась, и именица изрядная толика. Как бы ни было, а все по плоти племянницей мне доводится. Хошь не хошь, а пустился в путь. И бычка-то этого самого для нее торгую: надо ж девоньке гостинец привезти.

– Так она у вас, знать, охотница до мелкого зверья?

– Уж такая ли охотница, и – Боже мой! Сызмальства еще, увидит, случится, в окно, как уличные ребятки кошку, собаку мучат, – пошлет сейчас силой отнять, к себе принести; обмоет, вычешет, накормит – ну, что твою куколку алибо ребенка; нянчится, возится; смеху-то, балованья-то! Такая шальная, право.

– Золотое, значит, сердце.

– Да уж там понимай как знаешь. Было б хошь серебряное, да в голове-то только меньше этой девичьей дури, сумятицы неразборной. Ведь по ее милости же вот которую неделю уже без толку кружусь, по чужим людям маюсь. И когда еще отыщу ее – одному Богу в небе известно.

– Да ты, Степан Маркыч, не знаешь разве, где она, где жил напоследок брат твой?

– Как не знать: дом то у него на Украине, в Лубнах.

– В Лубнах! Да ведь то будет еще подалей Киева?

– Куда подалей! Плутал я, братец ты мой, плутал; а тут еще непогодь, бездорожье великое: насилиу добрался.

– Так, выходит, ты был уже там?

– Был-то, был, но племянницы уже не застал.

– Как не застал.

– Да уж – ау!

– Убежала?

– Нет, милый, храни Господь, такой порухи чести нашей она не сотворила б: честного, богобоязненного купецкого роду. Не уходом ушла, а, как по весне все равно птенчик, из гнездышка упорхнула. Не хотел я про эти дрязги наши по свету трезвонить, да так уж к слову молвилось; ведь ты, молодец, дальше не перескажешь?

– Кому же мне пересказать?

– И то правда: может, никогда больше не даст Бог свидеться. На Руси у нас недавно еще, правда, девицы затворницами, келейницами в светлицах своих жили. Ноне же, при царе Борисе Феодоровиче, им тоже вольготней стало: с опаской и бережью смеют иной раз и в людях показаться. А здесь, у ляхов, и толковать нечего: паненки с паничами, не за редкость, совсем запанибрата. Такой обиход, стало.

– Но ведь племянница же твоя, Степан Маркыч, жила на Украине; какие же там ляхи?

– Знамо, хохлы. Но дело-то, милый человек, вот какое. Брат Гордей, разъезжая тут вдоль и поперек по всему краю, заезжал, случалось, и к князьям Вишневецким. Их два брата ведь, этих Вишневецких.

– Князь Адам в Вишневце да князь Константин в Жалосцах. Наслышан тоже.

– Ну, вот. Русские ли они, или точно ляхи – сам шут их разберет. Оба на кровных полячках женаты; но старший, Константин, на дочери воеводы Сендомирского, Мнишка, и сам тоже веру их принял папскую. Про меньшого, Адама, врать не хочу; не знаю толком.

– Князь Адам, слышно, пока православный, – вставил Михайло.

– И благо ему. У князя-то Константина, изволишь видеть, в Жалосцах почасту молодая свояченица гостит, и тут-то Маруся, племянница моя, значит, и полюбилась ей.

– Так племянница твоя, видно, езжала тоже с отцом?

– Везде как есть; он ее от себя ни на шаг. Ну, а панна Марина-то, дочь воеводы, известно – полячка, сумела вежеством да лаской девочку приворожить к себе. Такая ж, говорят, шалунья, игрунья, привередница. Брату Гордею, знамо, лестно, что дочка его с воеводской дочерью дружбу водит. А девочке-то того паче, что паны вертихвосты с нею, что с заправской панной, лясы точат. Боюсь, как бы кругом ее не ополячили! Как помер тут у девчурки родитель, она и отпиши о том своей панне Марине, а та – вышли за ней сейчас колымагу, да шестериком, с вершниками, с гайдуками.

– Но как же она не дождалась тебя, родного дяди?

– Да я за делами-то, вишь, за дорогой я замешкался; да был тут еще, грех не грех, а случай такой: в доме-то родительском ей одной никоим, значит, образом оставаться уже не пристало...

– Что так?

Степан Маркович почесал в затылке и махнул рукой.

– Э-эх! Будь она мне родная дочка – и то я, может, не попенял бы ей: такая, знать, статья подошла. Что сор из избы выносить... Но мне-то, братец, рассуди, каково-то было? Приезжаю – глядь, ан девоньки моей и след простыл! Что да как? В Самбор, мол, укатила, к воеводе Сендомирскому. Вот тебе и сказ! На другой край бела света, значит, да к полякам! Того гляди, чтобы ей, голубушке, грешным делом, какого дурна не учинилось. В погоню послать некого; а сам ни дороги-то, ни порядков здешних не знаю. Как быть? Туда-сюда. Тут вожатого мне, душевного этого человека, Данилу Дударя, сам Бог послал. Эге! Да он никак уж и спать завалился? Эй, Данилка, спишь что ли?

Запорожец растянулся, в самом деле, на лавке, подложив под голову руки, и отвечал только звучным храпом и носовым свистом.

– Так и есть, носом песни играет, – сказал купец Биркин, – времени терять не любит: ест, пьет, спит сколько влезет, да временем разве жида поколотит.

– А он у тебя на каком положении? – спросил Михайло.

– Да вот на каком: ешь, пей вволю; а как вернемся из Самбора – полсотни корабленников на стол. Ему-то ведь в диво: только у молодца золотца, что пуговка оловца; совсем испрохарчился.

– Казак запорожский?

– Да, гулящий, отставной козы барабанщик. Родом-то он тоже наш брат, русский, вольный казак с Дону. Да набедокурил, знать, у своих, житья ему там не стало; перебрался к украинским казакам в Сечу их Запорожскую. Но и там-то не ужился, пошел мыкаться по белу свету. Одно слово: забубенная головушка! Но зато за ним, что за горой, что за Архангелом с мечом: в обиду не даст.

## Глава четвертая

### Чем хорош был царь Борис

– А что, Степан Маркыч, – спросил дикарь, – ты недавно ведь из наших краев: правда ль, что царь Борис теперь народ из своей казны кормит?

– Бают кормит, – отвечал Степан Маркович, – по 50 тысяч денег<sup>1</sup> на нищую братию в день раздает да по тысячам четвертей хлеба из царских закромов своих за полщены отпускает, а вдовицам, бедным да сиротам – тем и безденежно.

– Безденежно – пссь! Выгодное дело, гешефт! – не утерпел вернуть тут свое слово хозяин корчмы, чутко прислушивавшийся из-за стойки к беседе гостей и понимавший, видно, также по-русски. – А мы-то не то слышали...

– Что же ты, братец, слышал? – через плечо спросил Биркин.

– Слышали... Да вы что, добродию, господин честной: купец торговый тоже будете?

– Купец, да.

– Хе-хе! Ловкие вы люди, уй, ловкие, умелые! Купец нахмурился.

– Слышали мы, что вы с тех царских магазинов хлеб за гроши покупали, а бедным людям за карбованцы продавали. Ото процент, ото гешефт!

Биркина передернуло.

– Молчи, собака! – с сердцем произнес он. – Собака есть, да палки нет.

– Да статочное ли дело, Степан Маркыч? – воскликнул Михайло. – Одни православные на счет других корыстуются, когда надо всеми смерть висит!

– Э, милый человек! Двух смертей не бывать, а одной не миновать. Ты вот сам поразмысли: что такое тысяча, другая четвертей хлеба на все царство московское? Ведь это, почитай, на душу чуть не по зернышку придется. А куплей-продажей торг стоит: перекупить, перепродать – ан в карман-то, глядь, лишний рубль и перепал.

– А каждый рубль души христианской стоит!

– Кому на роду написано помереть, тому все одно не жить. Дело житейское! А царю Борису Феодоровичу все же щедрота его на том свете зачтется. Воистину сдержал он, помнит слово, что дал всенародно при выборе на царство! «Бог свидетель, – обещал он, – что никто в моем царстве не будет нищ и наг!» И, тряся верх своей рубахи, примолвил: «сию последнюю разделю с народом». И, по сказанному, как по писанному, сырым и вдовым заступник, нищей братии щедрый податель; никого, самих мертвых не забывает: по улицам тела их подбирать велит, обмывать да одевать в чистые рубахи, обувать в красные коты, а там со всем почетом в скудельницах хоронить.

Молодого дикаря практическая философия торгового человека не совсем, казалось, еще убедила.

– Народ теперь, значит, меньше ропщет? – спросил он.

– Меньше ли, больше ли – где весы возьмешь взвесить? – осторожно отозвался Биркин.

– Так жить-то на Руси не легче прежнего?

– Не легко, милый человек, не легко.

– И Годунова все клянут?

– Есть и такие, что не одобряют, очень не одобряют. Да на всех нешто угодишь? Вот хошь бы ваша братия, мужики да холопы, клянут кабалу: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» А каково-то, скажи, жилось вам до этой кабалы? Кто посильнее из вельмож да попов, тот вас и за чуб, и переманит, а мелкопоместные бары хошь волком вой, совсем без рук. Ну, а теперича

---

<sup>1</sup> То есть копеек, которых 100, как и теперь, составляли рубль.

шабаш: у кого кто закрепился, на того и трудись. За то и спасибо царю Борису Федоровичу, что не вельможным одним мирволит, а и о простых мирянах печется.

– А вас-то, торговых людей, разве он не теснит?

– Нас? – будто удивился Биркин. – Чем же, примерно?

– Как чем? Сколько немцев-то этих к нам напустил, каких льгот им надавал! И валят они к нам, что саранча залетная, из Гданска, из Любка, из швейского королевства, из англиской земли, буймистров своих и ратманов подсылают; а Годунов их, как великих послов принимает, не знает как и чем ублажить: отводит им на Арбате боярские хоромы; жалует их кафтанами на шелку, из бархату, из золотой парчи; оделяет деньгами по пятьдесят рублей на брата; оделяет землю с сотнями душ, а о всяком съестном: мясе да рыбе, масле да сыре, вине, пиве да меде – и разговаривать нечего; за царский стол свой, за царскую хлеб-соль сажает; первым боярам своим велит земно кланяться дорогим гостям, прислуживать. И возносит его, понятно, хитрая немчура превыше царя небесного, славословит великодушие государя московского; а мы-то, люди русские, православные, глядячи, только облизывайся да усы обтирай!

Патриотический пыл молодого полещука разжег понемногу и степенного торгового человека. Степан Маркович духом опорожнил свою кружку и с таким азартом брякнул ее на стол, что вся посуда на столе зазвенела.

– Все бы это еще куда ни шло, – промолвил он, – пускай бояре шею гнут – и им не мешает; но что и взаправду обидно, так это то, что проходимцам этим дают жалованные грамоты на беспошлинный торг по всей Руси!

– Да кто дает-то? Все тот же Годунов!

Биркин уже спохватился, что, пожалуй, сболтнул лишнее, и поторопился свернуть беседу на более мирное поле.

– Да ведь не даром же им и честь такая, – мягче заговорил он, – мы, русские, что ни толкуй, народ темный, а меж них, немцев, такие есть штукари – просто ума помрачение! Вот хоть в последнюю побывку мою в Москве, зашел как-то на Неглинной к часовнику одному, из Любка родом. Гляжу: часы боевые стоячие, с боем и пере-часьем, с планидами да с альманаками (царю Борису Федоровичу, слышь, в дар из-за моря присланы да к часовнику этому в починку отданы были). Поверишь ли: бьют во все часы да пере-часья в колокола да колокольчики, на разные голоса, и выходит это из часов сам Спаситель наш Иисус Христос со двенадцатью святыми отцами-апостолами. Бог ты мой! Глядишь – и сам не знаешь: отвернуться ли поскорее, аль осениться крестом? Люди тертые ведь, дошлые: чтобы нас, православных, обморочить, с истинной веры сбить, и мудрящие часы-то эти, может, соорудили?

– Нет, Степан Маркыч, – возразил Михайло, – иноверцы они, еретики, – точно, но все же на того же, поди, Христа нашего молятся. И кое-что доброе мы от них, пожалуй, перейем. Не одних проходимцев-штукарей залучил к себе Годунов, надо честь ему отдать; залучил он и разных мастеров навычных: суконников, рудознатцев, чтобы ремеслом своим народу послужили. Вызвал он и ученых людей, чтобы школы у нас всякие завести, уму-разуму сызмала детей наших учить<sup>2</sup>. Ума за морем, правда, не купишь, коли дома его нет; а все ж таки кое-что от них перейем. И за это царю Борису многое простится. Ученье – свет, а неученье – тьма.

Степан Маркович, недоумевая, уставился на дикаря.

– Да сам-то ты, Михайло Андреич, никак тоже грамотный? – спросил он.

– Мм... не умудрил Господь... – замялся Михайло, точно застигнутый врасплох.

– Послушай, добрый молодец, – продолжал Биркин, – скажи-ка мне по чистой совести, взаправду ли ты крестьянский, а не боярский сын?

---

<sup>2</sup> Борис Годунов состоял в переписке с ленциатом прав Тобиасом Лонциусом в Гамбурге относительно устройства в России не только школ, но и университетов.

Михайло заметно покраснел, принужденно рассмеялся и взялся за кружку – не с тем, казалось, чтобы пить, а с тем, чтобы заслониться от слишком внимательно устремленных на него глаз собеседника.

– Твоим бы медом да нас по губам! – сказал он. – А мед-то и то ведь весьма даже изрядный.

Тут щекотливая для него тема была и без того прервана: послышался конский топот и лай волкодава. Топот замолк за околицей; кто-то по-польски окликнул хозяина. Иосель Мойшельсон опрометью выбежал на улицу. Вслед за тем донесся опять стук лошадиных копыт: всадник помчался далее. Содержатель корчмы с развевающимися полами кафтана впопыхах влетел назад в дом и, как угорелый, заметался по горнице, клича дочь и батраков своих, того же израильского племени.

## Глава пятая

### Как объявился царевич

Гости вопросительно следили за суетившимся стариком-евреем. Тот, что-то вспомнив, хлопнул себя рукою по лбу и подбежал к Михайле.

– Михайлушко! Ты погодишь, значит, до утра, пока солнце встанет?

– А что?

– Да турицу в лесу доставать.

– Сказал раз, что погожу. А что тебе вдруг так загорелось?

– Стало, надо.

Он собирался снова отойти; но проснувшийся между тем Данила Дударь удержал его за полу лапсердака.

– Куда? Постой! На что тебе турица? Отвечай толком.

– Вай, отстань! Недосуг!

– Так и собака собаке молвила, когда та ее в гости зазывала: «Вау, отстань! Недосуг».

«А что?» – «Да завтра хозяин с сыном едет, так надо вперед забежать да лаять». Каких таких гостей на утро ждешь, ну?

Иосель Мойшельсон, видя, что ему не отвязаться, нехотя объяснил, что светлейший князь Адам с княгиней своей, с детьми и с царевичем Димитрием в Дубне у князя Острожского прогостил да теперь вот вперед гонца в Вишневец выслал: завтра-де тут, мимо корчмы проедут и привал сделают.

Гости переглянулись, а хозяин воспользовался этим, чтобы увернуться и ускользнуть.

– Так про царевича этого, стало, не все бабьи сказки? – вполголоса промолвил купец Биркин.

– И в Киеве, и в Остроге болтали уже нам про самозванца, – сказал запорожец. – Да не всякому бреху верить.

– Молчок, брат! – цыкнул на него Степан Маркович, опасливо озираясь. – Держи язык за зубами.

– Да мне-то что держать, дружище? Нам, вольным казакам, не все ли едино, кто у вас там на Москве царит? А будет вашему самозванцу удача, так мы первые же, пожалуй, пристанем.

– Самозванец ли он – это еще бабушка надвое сказала, – оживленно вмешался дикарь. – Все, что слышно об нем, так на правду похоже.

– У нас-то, на Руси, его за беглого монаха, Гришку Отрепьева, почитают, – сдержанно заметил Биркин.

– Вестимо, что Годунову надо было ему какой ни есть ярлык навесить. А зачем же было Годунову к Вишневецкому в Брагин тайного гонца подсылать? Зачем он подкупить его норovil? Недаром, знать, боится как огня этого «самозванца». Вишневецкий же никакого ответа ему не дал и подалей от границы, в Вишневец утек, чтобы Борисовы убийцы на сей раз ненароком как-нибудь не подобралась к царевичу.

– Так ты, Михайло Андреич, в самом деле веришь, что то царевич?

– А уж право не знаю, чему и верить! И так, и сяк в уме перекидывал; сколько ночей из-за дум этих глаз не сомкнул! Сам скажи, Степан Маркыч: а ну, как это точно царевич, а мы-то, свои же русские люди, от него отрещиваемся, отворачиваемся? Ведь такого греха нам Бог вовек не простит!

– Так-то так, – осторожно согласился Степан Маркович. – Ты здешний, тебе виднее. Что же рассказывают здесь об нем?

– А вот что. Приходит к князю Вишневецкому в Брагин молодой парень, на службу нанимается. Видит князь – парень ражий, смышленный, и конем, и мечом владеет, да грамоту знает –

русскую и латынь. Взял он его в первые слуги к себе и не нахвалится. Только раз вот новый слуга разнемогся не на живот, а насмерть. А как родом он был русский, православного закона, то и позвал к себе духовника попа православного. «Так и так, мол, отче; крепко мне недужится; час смертный мой пробил. Как помру, погреби ты меня, как царских детей погребают». Диву дался поп, не знает, как и быть: шутит парень, аль с ума спятил? А тот ему: «Тайны своей я тебе, отче, покуда не открою. Когда же отойду к Богу, найдешь ты под изголовьем у меня грамоту. Возьми ее, прочти втайне и никому не кажи. Бог, знать, судил мне так!»

– А батюшка и Расскажи князю?

– Да что ему делать было? Ведь православие-то наше ноне здесь, сам знаешь, в каком загоне. Этот меньшой князь Вишневецкий хоть, говорят, пока еще и православный, да надолго ли – Господу одному ведомо. Вот духовнику-то его и надо держать ухо востро. Как передал тот все своему князю от слова до слова, так князь и пойдя к слуге своему и вынь у него грамоту из-под изголовья...

– И слуга не противился?

– Противился ли, нет ли, сказать не умею. Да не все ли едино?

– Ладно. И князь прочел ту грамотку?

– Прочел.

– Что же стояло там?

– Стояло, как спасся царевич в Угличе от Годуновых убийц. Приставлен был-де к царевичу дохтур-немчин Симон, потому сызмальства царевич страдал недугом падучим. Сведаль дохтур тот про замыслы Борисовы против царевича, подыскал ему в товарищи другого мальчика, поповского сына, как брат на брата схожего на него, и велел тому мальчику быть при царевиче безотлучно, денно и ночью, спать с ним даже в одной постели; а как заснут, бывало, оба, то и перенесет царевича на другую постель. Так-то вот однажды играли они с другими мальчиками-жильцами на царском дворе. Нагрянули тут Борисовы люди, да второпях-то, вместо царевича, и зарежь того поповского сына. Дохтур же в сумятице увел поскорее царевича со двора, бежал с ним из города, бежал все дальше, пока не добрался до самого Студеного моря, в честную Соловецкую обитель. Долго скрывался царевич под монашеской рясой по разным монастырям. Когда же он подрос, вошел в лета – кровь молодецкая заиграла. Сбросил он иноческий наряд, бежал сюда, на Литву. Попал он сперва к запорожцам, обучался у них верховой езде, всем воинским хитростям. Но праздная жизнь была не по нем. Нанялся он к одному шляхтичу детей грамоте учить, а от шляхтича перешел уже к Вишневецкому.

– В слуги-то? Из попов да в дьяконы?

– Слуга слуге тоже рознь, Степан Маркыч: Вишневецкий сделал его своим первым слугою, покоевцем; а ведь этакий первый покоевец у светлейшего князя Вишневецкого – особа. Сам Вишневецкий по своей пышности, поди, иному королю не уступит: у него и стража своя, и придворные...

– Но как же он слуге своему да грамотке его на слово так и поверил? – вмешался запорожец.

– Не на слово: показал тот ему и царский золотой крест на груди, крест с драгоценными камнями, что дал ему крестный отец его, князь Иван Федорыч Мстиславский. «Горькая жизнь опостылела мне! – молвил царевич Вишневецкому со слезами, – предаю себя, князь, в твою волю. Делай со мной что хочешь! Но коли, мол, пособишь мне выручить отцовское наследие, то будет тебе и от меня, и от Бога великая награда!» А умом-то этот князь Адам, говорят, настолько же прост, насколько сердцем добр. Как увидел слезы московского царевича, самого слеза прошибла, у самого кровь русская в жилах заговорила. Обещался тут не покинуть уже царевича, вернуть ему родительский престол; поднес ему богатое платье, сам одел, обул его, созвал всех домашних, велел чествовать дорогого гостя по-царски, величать «царским величе-

ством», задал ему пир горой и подарил ему лучшую свою колымагу, шесть упряжных и шесть верховых коней со всем убором и прислугой.

– Да, мудреное дело! – проговорил задумчиво Биркин. – Занятно бы, все-таки, повидать его, этого «царевича», каков он из себя.

– Да ведь завтра-то, ты слышал, он проедет тут? Заночуй – увидишь. Я сам-то непременно обожду.

– Аль заночевать? Как думаешь, Данило?

– Чего мы не видели? – отозвался запорожец. – Панов этих польских, что ли? По верету Вишневецкий, может, и православный, а сам-то, слышь, совсем уже ополячен: и одевается в польский жупан, и болтает, почитай, только по-польски.

Тут вступился в защиту Вишневецкого хозяин корчмы: есть-де у «светлейшего» даже русский карло Ивашко; нарочно выписал его из Москвы под пару такому же карлу Палашке из хохлов и очень уважает того Ивашку за его русские шутки; детки княжеские тоже сказки русские от него охотно слушают; поэтому, как подерутся оба карла, так князь все больше Ивашкину сторону держит.

– Дело-то нам не в Ивашке этом, а в царевиче, – прервал корчмаря Биркин.

– Да и в нем-то что нам за радость? – возразил Данило. – Коли он вправду царевич, – и так, верно, даст Бог раз увидеть; а не царевич, так что нам в нем?

– Оно точно: подалей от греха. Одно разве, что ночь глухая; месяца еще нет: на ущербе...

– Месяц – казачье солнышко, твоя правда, Степан Маркыч. Да после полуночи, чай, выглянет; а там и заря утренняя.

– Ин будь по-твоему. Покушали честь-честью, выпили сколько следует, покалякали – ажно язык при-болтался, – и прощенья просим.

Он бросил на стол ефимок<sup>3</sup>, не требуя сдачи, и стал прощаться с Михайлой. Иосель Мойшельсон, припрятав деньги, исчез в задней горнице. Вслед за тем оттуда послышалась ожесточенная еврейская перебранка между отцом и дочерью. Когда же, немного погодя, Биркин усаживался в свою фуру, корчмарь преподнес ему, крепко скрученного снова по ногам, туренка. Та-роватый Степан Маркович не стал уже торговаться из-за желанного гостинца племяннице, и скрытая у еврея в подполье кубышка обогатилась в ту же ночь еще несколькими ефимками.

---

<sup>3</sup> Ефимок – рейхсталер (от Joachimsthaler) принимался на Руси в XVII веке за 50 копеек.

## Глава шестая Дождался!

Было незадолго до полудня следующего дня. Вся площадка перед еврейской корчмой до самой околицы была тщательно выметена. На заднем же дворе, заваленном по-прежнему нетронутыми грудями сора, шла суетливая возня и стряпня. При помощи Михайлы, убитая им турица была взвалена в лесу на телегу и благополучно доставлена сюда, на задний двор.

С князем Вишневецким, как всегда, был, без сомнения, и его лейб-повар с поваренками; но свежего туриного мяса у них, верно, не было припасено с собой, и хоть по этой-то части Иоселю Мойшельсону можно было показать себя. Старик-корчмарь совсем выбился из сил: со съехавшей на затылок ермолкой, с разгоряченным и искаженным от волнения лицом, с растрепавшимися и прилипшими к вискам пейсами, он метался, как угорелый, то к висевшей под навесом туше турицы; то к столу, где наскоро разрубалось вырезанное уже из туши мясо; то к лоханке, где оно промывалось. В поощрение же сотрудников: дочери, двух батраков-евреев и стряпухи-еврейки, он осыпал их своей еврейской бранью. Отведя душу над домашними, он то и дело выбегал за околицу на большую дорогу удостовериться: не видать ли уже высоких гостей.

Тем временем в маленькой светелке корчмы, у открытого окошка, сидел Михайло и с напряженным вниманием поглядывал также в сторону Дубна. Очень уж, видно, загорелся молодому нелюдиму своими глазами увидеть названного царевича Димитрия, коли решился выждать его. Впрочем, здесь-то, на вышке, самого его, Михайлу, никто, конечно, и искать не стал бы... И отчего это только рядом с мыслями о царевиче нет-нет да и набежит вдруг мысль о племяннице этого Биркина? Никогда-то ведь до вчерашнего вечера ничего он про нее не слышал; никогда, чай, ему ее и увидеть не доведется. Но что ни говори, жаль бедняжку: по словам дяди, девица добрая, сердобольная, нравом душевная, развеселая, и собой-то, верно, картинка писаная, коли уж дочка самого воеводы Сендомирского к себе ее так приблизила, – а свихнется, поди, ополячится! Недаром и Биркин помянул об этом.

Дикарь наш так замечтался о судьбе незнакомой ему еще вовсе Маруси Биркиной, что забыл даже на некоторое время о царевиче. Напомнил ему о нем содержатель корчмы, который, выбежав опять за околицу, замахал вдруг отчаянно руками и с криком: «О вай! Едут! Едут!» – бросился назад в дом. Михайло совсем высунулся из окошка в ту сторону, откуда ожидался княжеский поезд.

От Дубна, в самом деле, курилось облако пыли, которое быстро приближалось. Вскоре Михайло мог различить и весь поезд. Впереди бежали гуськом два долговязые, сухопарые скорохода, поминутно хлопавшие своими длинными бичами, хотя на пути им не попадалось никого встречного, кому пришлось бы свернуть с дороги. Платье на обоих, испанского покроя, было из самой легкой шелковой ткани; на ногах у них были башмаки; а на шапочках с княжеским гербом развевались страусовые перья.

Шагах в тридцати за скороходами мчалась вереница повозок. Во главе кортежа, сверкая на солнце, неслась сверху донизу раззолоченная колымага, разукрашенная гербами и другими атрибутами княжеского сана. Запряженные в нее цугом кровные кони тигровой масти щеголяли окрашенными в пурпуровый цвет гривами, «наголовками» из страусовых перьев, золотом и шелками шитой сбруей. На каждого из коней было посажено по маленькому фореитору; на козлах, рядом с кучером, восседал усатый великан-гайдук; на запятках стояли еще двое. По сторонам экипажа гарцевали вершники в остроконечных шапках. Ливрея на всей этой прислуге была одноцветная, зеленая, с золотыми шнурами и кистями. В золотой колымаге ехали, без сомнения, сам князь Адам Вишневецкий и царевич Димитрий.

Следующая повозка в позолоте, хотя несколько и уступала первой, но упряжью была столь же роскошна, с тою разницею, что кони были нежно-телесного цвета и гривы у них были светло-изумрудные. На подножках стояло с каждой стороны по мальчику-пажу, на запятках – четыре гайдука. Из этого надо было заключить, что в повозке ехала сама «светлейшая» с детьми.

Остальные экипажи были проще, но вся поездная прислуга носила ту же однообразную, красивую ливрею, и гривы всех лошадей были окрашены либо в зеленый, либо в красный цвет.

Только что поезд въехал на пригорок к корчме и еще не остановился, как навстречу ему выскочил из дому за околицу еврей-корчмарь с дочкой. Оба успели, оказалось, на скорую руку переодеться. Иосель был в лиловом длиннополном кафтане и с низкими поклонами размахивал в руке шапочкою того же цвета. На Рахили было цветное же шелковое платье и драгоценное ожерелье.

– Дорогу, дорогу! – кричали скороходы, влетая на двор с свистящими бичами, и хозяйка едва имела время посторониться: передние три-четыре экипажа вкатили также в околицу, тогда как хвост кортежа остановился на большой дороге.

Соскочившие с запяток золотой колымаги, два гайдука высадили оттуда под руки двух мужчин: одного постарше, другого помоложе. Младший – очевидно, царевич Димитрий, – с рыцарским поклоном подал руку высаживаемой из второй повозки княгине Вишневецкой, болезненной и желчной на вид барыне, и повел ее на крыльцо и в дом.

Двух княжеских детей, девочку лет семи и мальчика по пятому году, бережно приняли из повозки два гайдука; а за детьми, уже без чьей-либо помощи, вышла их няня.

Тем временем из третьего экипажа, дорожного рыдвана, выбрались две фрейлины светлейшей, а за ними выскочили и два карлика-шута. Оба худенькие, ростом в аршин с небольшим, они могли бы сойти, пожалуй, за пятилетних ребят, не будь их старообразных, размалеванных рож, их полосатой одежды и дурацких колпаков на головах. С оглушительным визгом и гамом, гремя погремушками на колпаках, они вперегонку взбежали по ступеням крыльца. Но один из шутов оказался догадливей товарища: подставил ему ножку, и тот скатился кубарем на двор к самым ногам Вишневецкого. Первый забил в ладошки и заликовал детским дискантом:

– Шилды-булды, начики-чиалды, шивалды-валды, бух-булды!

Потерпевший, как мяч, вспрянул с земли и кинулся к обидчику. Но этот дал уже тягу в дом.

Не очень-то, казалось, разборчивый в потехах князь Адам с усмешкой крикнул ему вслед: – Ай да Ивашко! Живее, братец, не то в горб тебе еще накладет!

При имени Ивашки, Михайло вспомнил вчерашний рассказ еврея о выписанном Вишневецким из Москвы русском карлике. Этот шут-озорник, стало быть, и был он самый.

Но Михайле было уже не до карликов: гораздо более его занимал теперь сам князь, сбросивший между тем на руки одного из слуг свой капеняк (дорожный плащ). Узнать в Вишневецком крупного магната можно было с первого взгляда по его дорогой собольей шапке, с пером цапли и огромным изумрудным аграфом; по его гранатовому кунтушу с малиновыми отворотами, богато расшитому золотыми цветами и яркими шелками; по его золотому поясу и сабле, осыпанной по рукоятке и ножнам алмазами. И в его красивом лице, и во всей сановитой, довольно дородной фигуре было что-то прирожденно-благородное. Хотя ему было за 40 лет, в лице его, сохранившем замечательную свежесть, не было почти морщин; усы его были лихо закручены, и с полных, как две вишни, губ его не сходила благосклонная улыбка.

Тут внимание Михайлы было развлечено развернувшейся внизу на дворе пестрой, оживленной картиной. Княжеские придворные, «маршалки» и «покоевцы» – крупная и мелкая шляхта, обязанная сопровождать светлейшего во всех его поездках, – повылезали, повыскакивали из остановившихся за околицей повозок, и вся площадка перед корчмою закишела празднично разряженным людом; воздух огласился шумным польским говором и смехом.

По сторонам крыльца, как уже раньше упомянуто, росли два могучие дуба, распространившие теперь, в полдень, широкую, прохладную тень. По данному князем знаку многочисленные холопья бросились наперерыв в дом, нанесли оттуда разной столовой мебели, и в несколько минут в тени дубов был накрыт и уставлен чем следует длиннейший обеденный стол. Местничество в старой Польше процветало едва ли не более еще, чем на старой Руси; поэтому, при выборе сидений за столом, каждый шляхтич, оспаривавший у других придворных старшинство в роде, норовил заручиться местом повыше, поближе к князю-воеводе и царевичу. Только благодаря особенной опытности и сноровке княжеского маршала, весь придворный штат, хотя и не без пререканий, был чинно расставлен вокруг стола. Никто еще, однако, не сел в ожидании княгини воеводиной и царевича.

Но вот и княгиня с детьми спустилась с крыльца, а за ними и царевич. Все заняли свои места.

Внимание Михайлы сосредоточилось исключительно на царевиче, которого он имел полный досуг разглядеть, так как тот, сев за стол, был обращен к нему лицом.

Это был молодой человек лет двадцати двух – двадцати трех, ростом ниже даже среднего, но сложения очень плотного, коренастого. Черты его безбородого, смуглого лица отнюдь не могли похвалиться правильностью и вообще красотой, а на лбу и около правого глаза у него было вдобавок по бородавке. Когда он, чтобы освежить голову, снял шапку, то обнаружил под нею коротко остриженные, жесткие как щетина, черного цвета волосы. За всем тем ему нельзя было отказать в представительности и даже в привлекательности: в открытом, смелом, почти дерзком Взгляде его пронизательных серых глаз светилось столько ума, на губах его змеилась по временам такая тонкая усмешка, в осанке его было столько самонадеянной гордости, во всех телодвижениях столько изящной ловкости, – прямой царедворец, если не царский сын! Ко всему этому он был одет в живописный, богатый польский костюм: в голубой бархатный кунтуш над стального цвета атласным жупаном, разукрашенным золотыми узорами; набекрень шапка соболья с бархатным верхом и султаном из стеклянных волос, за златотканым поясом желтые лосиные печатки; сбоку – украшенная драгоценными камнями сабля.

Обед между тем шел своим чередом. Княжеские повара оказались большими мастерами: хотя времени у них было очень немного, хотя дело было дорожное, угощение вышло на славу. Загодя, видно, в Дубне еще все изготовили, а здесь только допекли, дожарили. Начало трапезе положил, разумеется, традиционный еще в ту пору у местных вельмож со времен князя Владимира Киевского, жареный павлин во всей роскоши своих разноцветных перьев; затем следовали уже чисто польские блюда: зразы, бигос, мники. Парубки с умывальными чашами и кувшинами с водой в руках, с ручниками через плечо, стояли тут же, чтобы столующие могли между отдельными блюдами тотчас умыть себе жирные руки (вилки в ту пору не были еще в общем употреблении). Сновавшие вокруг стола слуги усердно подливали заморского виноградного вина, отечественной браги и домашнего меду в опорожненные чаши и кубки. Несмотря на присутствие княгини, беседа за столом текла все свободнее и шумнее. Шнырявшие туда да сюда карлики со своей стороны взапуски смешали обедавших; сама княгиня удостоивалась их иногда снисходительной, кисло-сладкой улыбкой, и только когда баловень-сын ее, сидевший рядом с нею, раздражался чересчур уже звонким смехом, она морщилась, зажимала себе в его сторону ухо и выговаривала стоявшей за стулом княжича нянюшке: зачем-де та не наблюдает за ним толком.

Тут подали новое блюдо, и от одного конца стола до другого пронесся возглас удивления и восхищения. Сам Михайло в окошке светелки не знал, верить ли глазам: вся турица его была воедино опять сложена, да так, в мохнатой шкуре, с приставленной рогатой головой, и подана на стол! Самые же рога у нее были вызолочены и цветочными венками кругом обвиты.

Но и на этом дело еще не стало: придворный кравчий, рушивший столующим жаркое, умелым взмахом ножа распорол живот турицы – и посыпалась оттуда в подставленные блюда небывалая начинка: дичь всякая, куры, зайцы...

Между тем царевич позвал к себе Рахиль и о чем-то ее спрашивал; она же, словно обрадовавшись, что-то ему рассказывала и кивала вверх, на светелку... Этого недоставало!

Михайло быстро откинулся назад от окошка. Но вот и лесенка к светелке заскрипела под чьими-то шагами. Ну, так и есть!

В дверях показалась Рахиль. Красивое лицо ее пылало огнем, голос ее обрывался от волнения:

– Царевич зовет тебя, Михайло...

– И зачем ты, Рахиль, говорила ему обо мне?.. – укорил ее дикарь.

– Иди, иди! Господь благослови тебя: счастье твое, может, ждет тебя...

Ему ничего не оставалось, как последовать зову. Придерживая рукою сердце, точно боясь, чтобы оно не выскочило у него из груди, он сошел в нижний этаж, а оттуда на двор.

## Глава седьмая

### Гайдук царевича

Взоры всего избранного, блестящего «панства», сидевшего за столом, обратились на молодого поле-шука.

– Ну, добрый молодец, хозяйская дочка рассказала нам о том, как ты справился вон с этим зверем, – милостиво заговорил по-русски царевич, указывая на возвышавшуюся посреди стола златорогую, увенчанную цветами, могучую турицу. – В бою один на один с человеком ты, я чай, тоже справишься, не покажешь тылу?

Михайло самонадеянно вскинул голову.

– Как ты сам, царевич, полагаю, тылу врагу не кажешь, так и я постою за себя!

– За смелое твое слово, молодец, ты люб мне. Такие люди мне нужны. Чем тебе без пути болтаться, взял бы я тебя в свою дружину. Да говоришь ли ты по-здешнему?

– По-хохлацки? Говорю.

– Прислушался? Но панского, польского языка, конечно, еще не знаешь?

– Знаю...

– Это откуда? Да кто же ты, молодец? Из каких?

Молодой богатырь, как ни был приготовлен к такому вопросу, замялся, смутился. Искося хмурясь на окружающих, не сводивших с него глаз, он, запинаясь, уклонился от прямого ответа.

– Я... не пропащий человек... дурным чем себя доселе не опорочил...

– Но имя, звание твое?

– Имя мне Михайло...

– Михайло Иваныч Топтыгин? – подхватил тут подскочивший к нему шут Ивашко. – Здорово, Мишенька! Что жenuшка-медведиха, Матрена Ивановна? Что малые детки?

Приветствие свое карлик сопровождал таким забавным кривляньем, что князь Адам, а за ним и все его придворные разразились одобрительным смехом. Маленький же княжич так и заливался, тыкая пальчиком на звериный кожух дикаря.

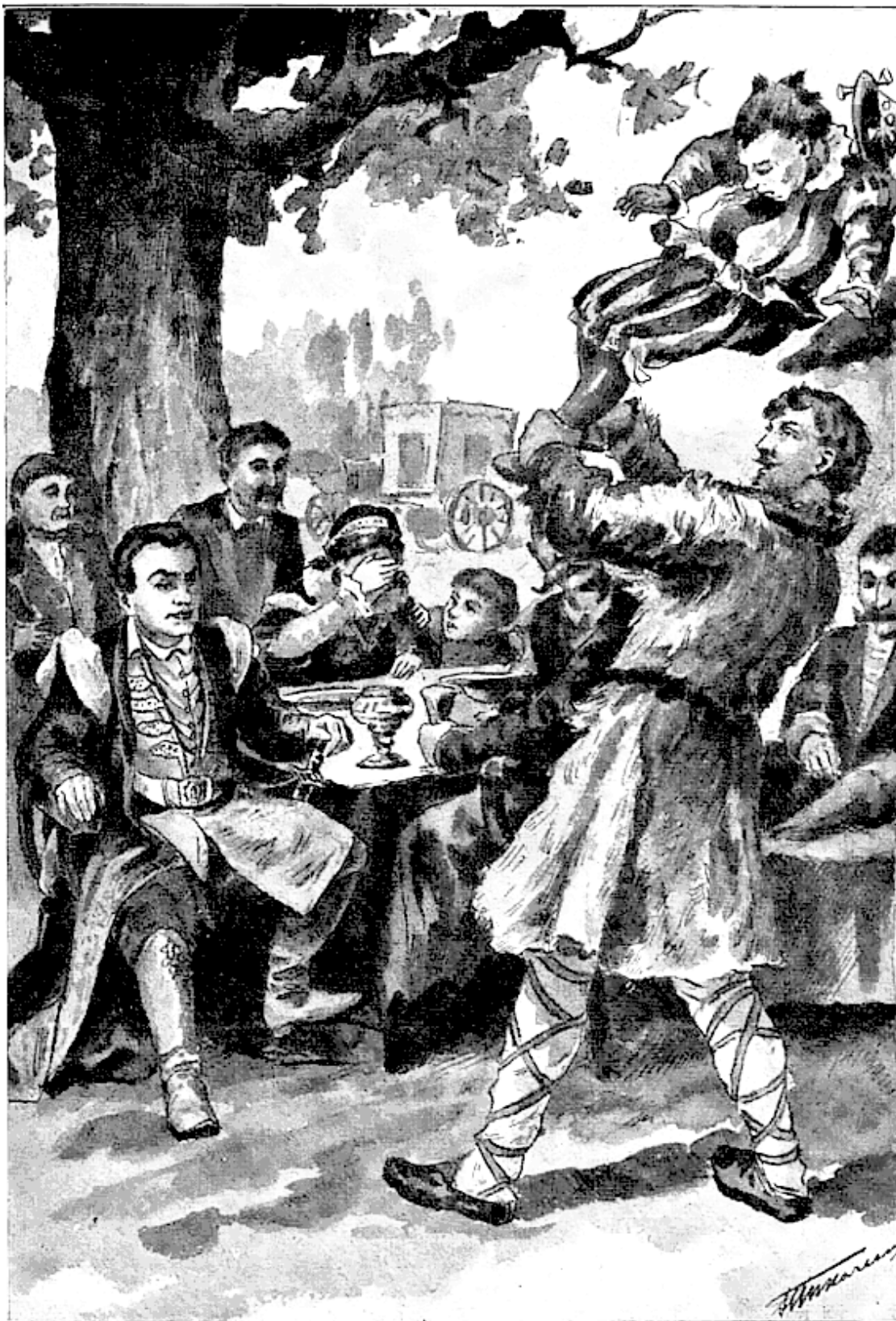
– Мама, медведь! Медведь!

Один только царевич, прерванный в своем допросе, сердито усмехнулся, и заметившая это княгиня наклонилась к сыну и стала тихонько ему выговаривать. Между тем, лавры Ивашки не давали уже покою товарищу его Палашке. Тому надо было во что бы то ни стало также отличиться.

– А Палашко покатается на медведе! – объявил он, молодецки потрясая головою в дурацком колпаке, отчего бубенчики на колпаке задорно зазвенели; и не успел Михайло оглянуться, как проворный шут, хватаясь за его волосатую одежду, вскарабкался к нему кошкой на плечи. – Ну, пошел! Вперед! Цоб-цобе!

Михайло был еще очень молод; услышав вокруг себя новый взрыв хохота, он понял одно: что сделался общим посмешищем, и в присутствии кого же? Самого царевича! Кровь ударила ему в голову, и он не мог уже совладать с собою. Стащив карлика разом за ноги с своих плеч, он размахнулся им по воздуху, как кистенем.

– Куда зашвырнуть тебя: за крышу или за околицу? Смех кругом разом замер.



– Куда зашвырнуть тебя: за крышу или за околицу?

Светлейшая ахнула и, боясь за свои нервы, закрыла глаза рукой. Сын же ее уцепился за рукав матери и громко разревелся:

– Ай, мама, мама! Он убьет Палашку, убьет!

– Гей, хлопцы! – крикнул тут князь Адам. – Чего зеваете? Отымите его у него!

Михайло уже опомнился.

– Не подходи, братцы! – сурово обратился он к холопьям, которые довольно нерешительно двинулись было к нему. – Натворю бед: ни ему, ни вам несдобровать.

Как пуховую подушку, сгреб он малютку-шута в охапку и подбросил его кверху. Тот очутился на покато́й кровле крыльца и с криком ухватился за нее, чтобы не соскользнуть вниз. Придворные за столом свободно вздохнули, а между прислугой послышались легкие смешки. Но маленький княжич с перепугу рыдал еще безутешно, и совсем уже расстроенная княгиня с побелевшими, дрожащими губами, бросила в лицо своему вельможному супругу при всем собрании резкий упрек:

– И вы, князь Адам, молчите? Вы позволяете какому-то лесному бродяге так обижать ваших приближенных, доводить до горьких слез вашего единственного сына – сына князя Адама Вишневецкого? Нет, это слишком... этого я не перенесу!..

Она с шумом поднялась и увлекла за руку в дом плачущего сына. Маленькая дочка-княжна, фрейлины и прислуживавшая детям нянюшка поспешили за нею.

Добродушный князь Адам, на устах которого при благополучном исходе истории с карликом появилась уже прежняя улыбка, не на шутку вспылел от заслуженного укора; он грозно выпрямился и задышающимся голосом гаркнул хлопцам:

– Убрать его с наших глаз и рассчитать по-казацки!

«Рассчитать по-казацки», как было всем хорошо известно, в том числе и самому Михайле, значило отстегать нагайкой. Прежде, однако, чем хлопцы успели исполнить приказание своего господина, дикарь наш выхватил из-за пояса нож и стал в оборонительное положение.

– Я не дамся живым! Берегись, братцы!

– Ну, что же? Уберете ли вы его? – повторил еще строже Вишневецкий.

– Не трогать его! – раздался тут другой повелительный голос.

Хлопцы раболепно отступили. Перед Михайлой стоял сам царевич Димитрий.

– Тебя пальцем не тронут: мы не позволим, – сказал царевич, с особенным ударением на слове «мы», после чего дружелюбно, но решительно отнесся к князю Адаму. – Из-за чего вам, любезный князь, так горячиться? Чем собственно этот молодец провинился? Тем, что не дал поглумиться над собой дураку? Да по правде сказать, он обошелся с дурнем еще довольно милостиво: напугал и больше ничего.

Михайло, повторяем, был очень молод и легко поддавался первому порыву. Великодушные, с которым царевич в такую решительную минуту принял его под свою защиту, окончательно склонило нашего героя в его пользу, отогнало у него последние сомнения относительно царского происхождения его защитника.

– Отродясь я не был еще бит, и, конечно, не дался бы и теперь, – промолвил он с блестящими глазами. – Но твоего доброго словца, царевич, я вовек не забуду!

Сунув нож опять за пояс, он повернулся к шуту Палашке, который, свесив ноги, все еще сидел на кровле крыльца.

– Что, друже, насиделся? Ну, будет хныкать-то! Прыгай!

Он протянул карлику обе руки. Тот, буравя кулаком в глаз, слезливо отозвался:

– А не замаешь?

– Не замаю. Прыгай, что ли!

Поймав его налету, Михайло бережно поставил его на ноги; затем отдал царевичу еще раз глубокий поклон и повернулся, чтобы удалиться в дом. Но шут Ивашко остановил его.

– Постой, красавчик мой! Не слыхал нешто, что Иван-царевич тебя в дружинники к себе прочит? Что же, Иван-царевич? Какого тебе еще Илью Муромца? Ростом трех сажень, в плечах – коса сажень, промеж глаз – калена стрела... Не красна на молодце одежда – сам собой молодец красен.

Царевич Димитрий, должно быть, привык уже к тому, что карлик переименовал его в сказочные Иваны-царевичи, потому что оставил кличку эту без внимания. Он, видимо, любовался атлетической, статной фигурой дикаря и возобновил допрос.

– Ты – русский, говоришь, однако, и по-польски... Какого же ты рода? Откуда появился?

Юливший все время вокруг да около царевича Иосель Мойшельсон, размахивая своей парадной ермолкой, униженно-нахально проскользнул бочком вперед.

– Пхе! Да он, ваше ясновельможное величество, простой мужик, полещук: сам говорил нам.

– Так ли, полно? – усомнился царевич. Михайло не взглянул даже на еврея.

– Говорил, да, – отвечал он царевичу. – Но тебя, государь, морочить мне не пристало: язык не повернется. Какого я рода – не все ли едино? Прошлого у меня нету: я оставил его позади себя и сам уже не помню, не знаю, знать не хочу. Одна родная у меня – нужда горькая; я – полещанин и больше ничего. Зовусь же я Михайлой, прозываюсь Безродным.

– Стало быть, Михайло Безродный? А кто прозвал тебя так?

– Свой же товарищи-полещане.

– Но они-то кто такие? Не вольница ли уж разудалая, не станичники ли, подорожники?

Михайло покраснел и нахмурился.

– Не пытай, государь! – промолвил он почти умоляющим тоном. – Скажу тебе одно: я доброго кореня отрасль...

– И души христианской ни одной не сгубил?

– Ни единой, как Бог свят.

– Верю. Дружинников у меня покуда еще нет; но они найдутся – только клич кликнуть. Верный же слуга, свой, русский, мне теперь всего нужнее. Готов ли ты, Михайло, служить мне верой и правдой?

– Рад душой и телом! Хоть последним слугой...

– Нет, ты будешь мне первым слугой, первым гайдуком. Подать ему чару вина!

Такая честь, оказанная безвестному бродяге будущим царем московским, возбудила кругом между панами шепот удивления, а между прислугой – и зависть. Вишневецкий собственноручно долил свой большой золотой кубок и с небрежной снисходительностью протянул его Михайле, после чего подозвал к себе своего гардеробмейстера, толстопузого и чрезвычайно важного на вид старика, и вполголоса отдал ему приказание – немедленно выбрать для нового царского гайдука подходящий наряд.

Полчаса спустя обед пришел к концу, столы были убраны, и княжеская золотая колымага первую подкатила к крыльцу.

– Где же гайдук мой? – спросил, озираясь, царевич.

Иосель Мойшельсон бросился в дом и, к немалой досаде своей, застал здесь, в сенях, разодетого в новый наряд гайдука в разговоре с Рахилью.

– Да ты, Михайло, загордишься, – говорила молодая еврейка, – чураться меня станешь...

– Я те зачураю! – перебил ее подскочивший в это время старик-отец и дернул за руку с такою силой, что девушка отлетела в угол. – А тебя, Михайло, царевич зовет. Ходи скорей, ну?

Он хотел, видно, еще распушить дочку, но спохватился, что упустит, пожалуй «гешефт», и буркнув только что-то, опрорхнул выскочил также к отъезжающим. Колымага уже тронулась с места, когда в дверцах ее показалась кудластая голова корчмаря.

– Ваша ясновельможная светлость! Простите: мы люди маленькие, живем только тем, что паны банкетуют у нас...

– А и в самом деле! Тебя ведь еще не рассчитали? – вспомнил князь Адам.

– Ни!

– Сколько же тебе причтется?

Старик-еврей с умильной ужимкой склонился еще ниже и без конца заморгал.

– Сто дукатов вашей светлости не много будет? Несообразное требование поразило даже известного своею щедростью князя Адама.

– Сто дукатов? – переспросил он. – Это за что же? Ведь припасы-то у нас, чай, все свои были?

– А про турицу-то, ваша светлейшая ясновель-можность, забыли? Пхе!

– Да туры будто у нас на Волыни уже такая редкость?

– Туры-то не редкость, – отвечал изворотливый еврей, подобострастно осклабясь и подмигивая сидевшему рядом с князем царевичу, – но цари московские – уй-уй какая редкость!

Царевич усмехнулся, а князь рассмеялся и крикнул своему казначею, чтобы тот отсчитал корчмарю требуемую им сумму.

## Глава восьмая

### В голове панны Марины назревает план

Пока названный царевич Димитрий, а с ним и новый гайдук его, под палящими лучами июльского солнца в удушающих облаках пыли, безостановочно мчались навстречу неведомой судьбе своей, судьба их была более или менее уже предрешена: предрешена в отдаленном Самборе молодою девушкой, существования которой ни один из них еще не подозревал. Девушка эта была первая самборская красавица и привередница – панна Марина Мнишек, младшая и любимая дочь Сендомирского воеводы, Юрия Мнишка.

Пан воевода только что окончил продолжительное совещание с тремя монахами: двумя иезуитами и одним бернардинцем, присланными к нему папским нунцием в Кракове, Рангони, как панна Марина, выжидавшая только, казалось, ухода монахов, впорхнула в кабинет отца.

– Что тебе, мое сердце? – с оттенком неудовольствия спросил пан Мнишек, который, видимо, утомленный предшествовавшими прениями, разлегся на диване и, тяжело дыша, отирал платком свое голое, блестящее, как полированная слоновая кость, темя, на которое с затылка только был тщательно зачесан седой оседелец.

Молодая панна, ластясь, подседа к старику и, достав из кармана свой собственный фацилет (платок) тончайшего полотна, опрысканный эфирным раствором амбры, нежно провела платком по его лбу, а в заключение поцеловала его в самое темя.

– Вот так! – сказала она, с улыбкой глядя на него. – Что, разве не легче?

– Легче; но я устал моя милая, очень устал...

– Безбожные патеры!

– Тише, дитя мое...

– И чего им от вас нужно?! Ну, скажите, папа, чего им нужно?

– Это, милая, государственная тайна. У тебя же еще один ветер в голове...

– Без ветра, папа, никак нельзя: без него бы все на свете застоялось и сгнило; ветер очищает воздух.

И в подкрепление своих слов, она обмахнула опять лицо отца своим платком и обдала его при этом ароматом амбры.

– Экий язычок! На все ответ найдется, – заметил пан Мнишек, с умилением взглядывая снизу в сверкающие глазки дочери.

– Ну, да Бог с ними, вашими патерами! – сказала она. – Я и без того прекрасно знаю, что разговор у вас был об этом московском царевиче, который точно с неба свалился. Ответьте мне, папа, только на один вопрос: в самом ли деле это заколдованный принц, или он только прикидывается им?

– Гм... Да тебе-то, милочка, на что? Что за странные для девушки вопросы ни с того, ни с сего?

– Видно, есть с чего... Так что же, говорите: принц он или нет?

Пан Мнишек пристально взглянул в глаза дочери. Она глядела на него не менее зорко и смело, нетерпеливо потопывая ножкой по полу.

– Ты, Марина, у меня ведь известная фантазерка: в безумной головке твоей, верно, опять какая-нибудь шальная идея родилась?

– Шальная ли, увидите когда нужно. А теперь отвечайте мне: кто этот таинственный незнакомец, выдающий себя за русского царевича? Отвечайте, пожалуйста, по совести! Вы не знаете, папа, сколько от этого зависит и для вас, и для меня!

Пан воевода озабоченно насупился и покачал головой.

– Что я скажу тебе? Кто заглянет ему в душу?

– Так вы сами, значит, не совсем уверены в нем? – продолжала допытываться панна Марина, и возбужденные черты ее подернулись тенью разочарования. – Это, конечно, грустно, очень грустно; но... все равно, принц он или нет, есть ли у него надежда захватить венец царский?

– Ежели король наш Сигизмунд и сейм польский не откажут ему в своей помощи – без сомнения.

– А эти посланцы папского нунция из Кракова прибыли сюда к вам, конечно, по этому же делу?

Пан Мнишек не мог скрыть своего изумления по поводу дипломатического чутья дочери.

– Ты, милая моя, право, иезуит в юбке! Панна Марина тихонько засмеялась.

– Была, значит, в хорошей школе! Недаром вы окружили теперь и себя, и меня иезуитами.

– Не шути с огнем! – укорительно заметил отец. – С иезуитами считаются теперь и крупные государственные мужи, преклоняется перед ними и власть королевская. Они же возложат на голову нашего августейшего монарха наследственную корону шведскую, которая была у него насильственно отнята...

– Договаривайте, папа.

– Что договаривать? И то проболтал уже лишнее. Политика – не женское дело.

– Так я вам доскажу. Иезуиты ваши подбивают короля поддержать этого претендента на московский престол (царевич ли он или нет – для них все равно) с тем, чтобы он потом, в свой черед, помог королю вернуть себе шведскую корону. Не так ли?

Старик Мнишек развел руками.

– Кто тебе это все выдал?

Дочь коснулась указательным пальцем своего высокого, выпуклого лба.

– Вот эта безумная головка. Политика, как видите, иногда и женское дело. Стало быть все это верно? Хорошо. А иезуиты-то из чего хлопочут?

– Как из чего? Чтобы восстановить прежнее могущество польского народа, исповедующего их святую римскую веру.

– Вы думаете? Какое дело настоящему иезуиту до того или до другого народа? Нет, у них совсем другое на уме.

– Другое?

– Торжество истинного Христова учения: им надо обратить в римскую веру нового русского царя, а через него и весь народ русский.

– А что ведь? И то, пожалуй, так! Ай да умница! Тебе самой бы, право, восседать на престоле.

– Чего нет, то может еще стать.

Пан воевода от изумления, от испуга даже рот разинул.

– Как? Что ты говоришь?

– Молчание, папа! Еще время не пришло. Как ваши иезуиты ни хлопочут – одним без меня, поверьте, им ничего не добиться. Теперь заколдованный принц, как слышно, в Дубне у князя Острожского, которому князь Адам почему-то счел нужным раньше других его представить.

– Потому что-то – первый защитник русских и православных на Волыни! – не без горечи пояснил пан Мнишек.

– Хорошо. Но после-то князя Острожского к кому он его повезет на поклон? Разумеется, к родному брату своему, Константину, в Жалосцы...

– И ты хочешь теперь же ехать туда, как бы им навстречу? Боже тебя упаси! Вот сумасбродство...

– Ничего нет проще: про царевича я ничего знать не знаю. Еду же я только в гости к сестре своей, Урсуле. Если тут, в доме ее, я случайно, – слышите: совершенно случайно, –

застаю проезжего принца, то моя ли в том вина? Что будут они потом и сюда, в Самбор, – я верю. Но видеть его раньше того, как бы мимоходом, мне решительно необходимо, чтобы присмотреться и окончательно решиться. Я нахожу даже более осторожным, если вы, папа, не будете там со мною, чтобы я гостила у сестры совсем случайно. Не правда ли?

– Правда... Умница ты у меня, повторяю, разумница, какой другой не найти, – ей-Богу, так! Но, знаешь, душа у меня далеко не спокойна: а ну, как он и точно самозванец и проведет тебя...

– Меня-то? – самоуверенно улыбулась хорошенькая панна. – Это мы еще посмотрим: кто кого проведет!

– Ах, дитя мое, ах-ах! – вздохнул пан Мнишек, с озабоченным видом поглаживая рукою цветущую щечку дочери. – Боюсь я за тебя, боюсь: ты так молода; сердечко твое и теперь, думается мне, не совсем свободно...

Облачко грусти пробежало по ясному челу девушки.

– Вы, папа, говорите про пана Осмольского?

– Да, про него. Что он к тебе неравнодушен, как многие другие польские рыцари, ты сама, конечно, заметила еще раньше меня. Но он также богат, умен, занимает при мне видное место – региментаря, и сам дослужится, надо думать, до воеводства; он храбр, честен, скромн – рыцарь в лучшем смысле слова...

– К чему вы, папа, мне все это говорите! Будто я этого и без вас не знаю? – с сердцем перебила панна Марина и вся заалелась.

– Говорю потому, что мне больно за тебя...

– А мне-то, вы думаете, не больно? Но тут я могу не только сама занять такое высокое место, какое ни одной из моих подруг и во сне не снилось, – я могу оказать своей отчизне, своей вере такую услугу, которая никогда не забудется и занесет мое имя на страницы истории рядом с самыми почетными именами!

Пан воевода слушал свою красноречивую дочку с возрастающим восхищением; при последних словах ее он поймал на воздухе ее жестикулирующую руку и, поднеся к губам, приложился губами к кончикам ее стройных пальцев.

– Преклоняюсь перед вашим не женским умом, пани!

Так-то, еще за несколько дней до приезда в Жалосцы царевича Димитрия, панна Марина Мнишек явилась туда в сообществе двух любимых своих фрейлин: Муси (то есть Маруси) Биркиной и Брониславы Гижигинской. День спустя прибыли туда из Самбора еще трое гостей по взаимному соглашению папских легатов: один из них, бернардинец, патер Сераковский, в действительности также иезуит, но тайный, и уже от себя – двое искателей руки панны Марины: вышеупомянутый пан Осмольский и его соперник, пан Тарло, – последний, как выяснилось вскоре, также тайное орудие иезуитов.

## Глава девятая

### Панна Марина принимает предварительные меры

Каменные замки на Волыни в описываемую эпоху можно было встретить только в редких, более крупных городских поселениях: в Кременце, Дубне, Остроге, Луцке. Так и жалосцкий замок (лежавший не далее десяти верст по ту сторону Волынской границы), несмотря на вошедшее в поговорку богатство старинного рода Вишневецких, был возведен из дубового дерева и крыт гонтом. Зато он поражал массивной архитектурой, представляя обширный восьмиугольник в три яруса. Над крутой срединной вышкой развевался фамильный флаг Вишневецких, а над главным порталом красовался эффектный герб Русского (то есть Червоно-русского) воеводства – золотой лев в короне на голубом поле. По всем восьми углам замка высились стройные вежи (башни). Верхние ярусы их были снабжены, вместо окон, круглыми бойницами, из которых выставлялись жерла небольших пушек; в нижних помещались скопившиеся годами склады всяких военных и особенно охотничьих принадлежностей.

Для полной защиты от нападения кочевников, замок со всеми его городнями (пристройки и службы) и прилегавшим к нему парком был обнесен земляным валом с дубовым частоколом и глубоким рвом. Последний, впрочем, в данное время пересох и оброс травой, но благодаря протекавшей по парку быстрой и многоводной речке, он всегда мог быть наполнен водою. Единственным выходом из этого земляного и водяного кольца служил подъемный мост перед въездными воротами, две башенки которых были также вооружены большими пушками – «бомбардами».

Лучшим украшением замка был, однако, его великолепный парк. Лет семнадцать назад получив, можно сказать, с бою руку старшей дочери Сендомирского воеводы, панны Урсулы Мнишек, окруженной в то время, как теперь ее младшая сестрица, целым роем поклонников, князь Константин Вишневецкий желал сделать своей молодой, избалованной спутнице жизни пребывание вдали от родительского дома возможно отрадным и приятным. В этих видах он выписал из немецкой земли искусника-садовода и с ним разных подначальных мастеров, и в два-три месяца старый, запущенный парк стал неузнаваем. Густую чащу вдоль и поперек изрезали широкие аллеи и извилистые дорожки, усыпанные то белым, то красным песком; на перекрестках появились столбики с разъяснительными надписями: «Философская тропа», «Путь мечтаний», «Аллея вздохов» и т. п., а из-за нависших сплетений плюща то здесь, то там эффектно просвечивали расписанные гипсовые фигуры древнегреческих богов и героев, а также разных заморских, зверей: львов, тигров, крокодилов. Можно было найти для отдохновения не одну укромную беседку: одну – с кукующей деревянной кукушкой; другую – с золотой арфой; третью – наподобие китайского киоска с звенящими на зонтичной крыше колокольчиками. Можно было скрыться в темный грот со сталактитами и сталагмитами, или же присесть помечтать у журчащего каскада.

Правда, розовое настроение княгини Урсулы, в ранней юности склонной к мечтательности, с годами уступило место строгой религиозности. Но парк, по распоряжению ее светлейшего супруга, поддерживался в прежнем виде.

В этом-то парке под вечер следующего дня по прибытии самборских гостей гуляло целое общество. Во время прогулки по одну руку панны Марины вскоре очутился пан Осмольский, по другую – пан Тарло. С первого взгляда трудно было бы сказать, кому из обоих отдать предпочтение.

Аристократические черты смуглого лица пана Тарло носили, правда, следы бурно прожитых лет, но черные глаза его под густыми сросшимися бровями светились как тлеющие уголья, и та самонадеянная заносчивость, то нескрываемое презрение, с которым он относился к большинству мужчин, та рыцарская почтительность и изысканная любезность, которые он

выказывал перед особами другого пола, особенно если они отличались молодостью и красотой, снискали ему почти всеобщее расположение самборских дам.

Пан Осмольский, напротив, красотой лица отнюдь не поражал. Черты его были довольно обыкновенны и крупны. Зато в них выражались твердая воля, прямодушие и привычка к размышлению. Телом же он, надо признать, был очень хорошо сложен и вообще имел чрезвычайно решительный, воинственный вид, благодаря, между прочим, и военному мундиру. Это, очевидно, был вполне прямой характер, честный и простой вояка и рубака с возвышенным умом и чистым сердцем.

– Ах, вот что, пане Осмольский, – сказала вдруг панна Марина. – У меня к вам просьба, большая просьба!

– Панне остается только приказать, – был почтительный ответ.

– Но просьба, повторяю, очень большая! Вы вчера ведь только прибыли сюда и, конечно, еще утомлены, не отдохнули?

– Мы, пани, люди военные, и утомления для нас не существует.

– Так вы не слишком на меня рассердитесь, если я вас теперь же заставлю совершить обратное путешествие в Самбор?

– С вами, в качестве конвойного?

– То-то, что без меня. Мне во что бы то ни стало надо отправить очень важное и спешное письмо к отцу, и более верного гонца, как вы, я не знаю. Как рыцарь, вы в просьбе моей, конечно, не откажете?

Она произнесла это как-то особенно ласково, но так решительно, что пан Осмольский насутился и отдал ей формальный «рыцарский» поклон.

– Вы делаете мне слишком много чести, пани. Между вашими собственными служителями, между прислугой вашей сестры нашлись бы, я уверен, вполне благонадежные люди, которые с не меньшим успехом, чем я, исполнили бы это немудреное поручение.

– Так вы не желаете сделать это для меня?

– Если прикажете, то я, разумеется, повинуюсь: ваше слово для меня – закон.

– Так я приказываю.

– Слушаюсь, пани, – не без горечи уязвленного самолюбия отвечал пан Осмольский. – Письмо, может быть, уже при вас?

Небольшое, сложенное треугольничком и запечатанное письмо, действительно, оказалось уже у нее наготове. Приняв его, пан Осмольский молча откланялся, подошел к хозяевам объяснить, что по самому неотложному делу должен сейчас же возвратиться в Самбор, и без оглядки удалился.

– Мне даже жаль его! – усмехнулся пан Тарло. – Вы точно нарочно услали его отсюда?

– А если бы и так? – вполголоса отвечала панна Марина. – Отстанем немножко от других.

Пропустив остальное общество вперед, они незаметно завернули в безлюдную боковую аллею.

– Время дорого, – начала тут опять панна Марина, – и с вами, любезный пане Эвзебий, я не стану более играть в жмурки. Вы не менее строгий католик, как вся наша семья Мнишек, и потому, конечно, поймете, что благо святой нашей церкви должно быть нам выше даже собственного нашего счастья. Между тем, в руках моих, можно сказать, судьбы нашей церкви: от меня зависит обратить к ней миллионы еретиков. Что вы глядите на меня так удивленно? Объяснюсь проще: нам надо заставить московского царевича перейти в нашу веру, а для этого мне надо завоевать его расположение...

Пан Тарло, как ужаленный, даже привскочил на ходу.

– И я должен еще содействовать вам? – вскричал он. – Это, пани, бесчеловечно!

– Что я не совсем бесчеловечна, что я к вам... благосклоннее, чем к кому-либо другому, вы можете судить уже потому, что вас я не удаляю от себя, тогда как вашего опаснейшего

соперника, как видите, и след простыл. Я послала его с письмом к моему отцу, чтобы тот ни за что не отпускал его уже из Самбора.

– Только для этого?

– А по-вашему этого мало? Мне выпала, как я только что говорила вам, великая, но и трудная задача – сделать московского царевича верным слугою папского престола. И, пока задача эта не будет мною выполнена, я дала себе слово не думать о моем собственном счастье. Пан Осмольский по своей непростительной прямоте только мешал бы мне в моем плане; говорить с ним о таком деликатном деле решительно невозможно. Вы же, дорогой Эвзебий, совсем другого закала, в вас я надеюсь иметь самого верного помощника: вы должны вашим вниманием ко мне постоянно поддерживать чувства царевича, а в то же время, чтобы оставлять его в некотором сомнении, быть галантным и с моими фрейлинами. Зато, раз только царевич будет наш, эта рука – ваша...

Молодая комедиантка, не глядя, протянула ему свою руку, к которой он не замедлил приложиться губами.

– Итак, мы – союзники? – сказала она, отнимая опять руку. – Вы обещаете иметь терпение до конца?

– Вы делаете со мною, что хотите, божественная!..

– Без нежностей! Я для вас, покамест, как и для всех других, только панна Мнишек, которая может быть одинаково любезна с кем хочет.

– Слушаюсь...

– Слово польского рыцаря?

– Слово рыцаря.

– Чур, не забывать! А теперь, пане, повернем назад и нагоним поскорее других.

## Глава десятая

### Фальшивая тревога

Следующий день выдался исключительно жаркий и душный. Солнце, чем далее за полдень, тем томительнее пекло и парило, как бывает обыкновенно перед июльской грозой. Неудивительно, что многочисленные домочадцы жалосцкого замка попрыгали по углам.

Обширный, усыпанный песком двор перед лицевым фасадом замка лежал прямо на припеке, и на нем, естественно, не было ни души. Но и отсюда замечались признаки напряженного ожидания необычных гостей: из открытых окон отдаленного флигеля, где помещалась княжеская пекарня (кухня), доносился неумолчный концерт ножей, кастрюль, ступок, перебранка повара с поваренками. На пороге главного портала замка стоял бессменным караулом, в полной парадной форме, один из двух дежурных на этот день «маршалков» – молодых дворян-приживальцев светлейшего. Несколько человек состоявших под его началом ливрейных слуг слонялось тут же между колонками подъезда и вполголоса лениво перешучивалось. По временам показывался из замка сам маршал придворный, пан Пузын, тяжелый на подъем толстяк; пыхтя под плотно облежавшим его раздобревшее тело кунтушом, спереди и сзади залитым золотым шитьем, он озирался – все ли в порядке, отдавал слугам еще то или другое приказание и, отдуваясь, скрывался опять в прохладные сени дома.

– И чего он ползет-то еще сюда? – заметил один из дежурных слуг, чернявый, востроглазый малый.

– На то маршал, – отозвался, зевая, другой.

– Маршал! Она где наш маршал, – сказал первый, кивая на окошко в «городне», откуда только что выглянула на минутку голова молодого княжеского секретаря, пана Бучинского: всем у нас верховодит.

– Ты, Юшка, держал бы язык за зубами.

– Да нешто не правда? Он вот и теперь-то за делом – бумажки строчит, а нет-нет да и выглянет: все видит, все подметит, а хошь бы раз облаял – мягко стелет и мягко спат. А тот что? Хошь бы палец о палец ударил: «Раздень меня, разуй меня, уложи меня, накрой меня, переверни меня, перекрести меня, а там, поди, усну и сам».

– Видно, ты, братику, давно на конюшне не бывал?

– Головы не снимут!

– А спины не жалко?

– Душа Божья, голова царская, спина барская, – с беззаботною удалью отозвался Юшка. – А нонече и на нашей улице будет праздник!

– Что так?

– Да так: штуку одну таковскую про запас имею; один князь только поколе ведает. Как сведаете, братцы, – ахнете!

– Ври больше: кудрявый у тебя волос – кудрявы и мысли.

Юшка собирался еще что-то сказать, но прикусил язык: в дверях появился сам владелец замка, светлейший князь Константин Вишневецкий. Это был мужчина лет за пятьдесят, чрезвычайно решительного, даже сурового вида, хотя в чертах лица его можно было найти некоторое фамильное сходство с его младшим, добродушным братом князем Адамом. В ожидании царевича, он также был в праздничном наряде, в собольей шапке со страусовым пером и с аграфом из драгоценных камней.

Не удостоив и взгляда слуг, раболепно расступившихся по сторонам, князь, сопровождаемый дежурным маршалком, вышел на середину двора и неодобрительно оглядел кругом небо.

– Ни облачка, а душно, как перед грозой, – пробормотал он как бы про себя, – не застало бы их в дороге.

– Парит, ваша светлость, и чересчур уже тихо в воздухе, – позволил себе почтительно заметить молодой маршалок, – ведь нынче же у русских Илья-пророк – даром не пройдет.

– Что? – вскинулся на него начальник и гуще еще сдвинул брови. – Вы разве еще православный?

– Упаси Боже, ваша светлость!.. Я сказал только так, по необдуманности.

Князь оставил отговорку без дальнейшего внимания и поднял голову к кровле замка, над верхушечной башенкой которого развивался родной стяг Вишневецких.

– Гай-гай, диду! – громко крикнул он.

Никого в вышине не было видно, и отклика не последовало.

– Дидусю! Павло! – еще зычнее крикнул князь. Над выступом башенки вынырнула белая, как лунь, старческая голова, четко выделяясь на небесной лазури.

– Чего, батьку? – донесся вниз разбитый, дребезжащий голос «дида» Павла.

– Не видать их?

Как петух, высматривающий на земле зерно, старик свернул свою белую голову на бок и приставил руку рупором к уху.

– Глухой тетерев! – вспылел господин его. – Не видать гостей, что ли?

– Нету-ти.

– Совсем плох стал старичина! Пора на покой, – проворчал про себя князь. – Эй, Юшка! Слетай-ка ты на вышку да дерни, когда нужно, звонок: старик, чего доброго, проглядит еще гостей.

– Мигом слетаю, батюшка князь.

Но «слетать» на вышку он уже не успел: «дид Павло» напряг теперь, как видно, свое ослабевшее зрение, чтобы в угоду князю поскорее усмотреть гостей, и дернул звонок. По замку прозвенел знакомый всем обитателям его колокольчик, и весь замок, как муравейник, в который ткнули палкой, вдруг взворoshился, ожил.

Церемониал встречи почетных, да и непочетных гостей в «доброе старое время» соблюдался куда строже, чем в наше вольнодумное время, особливо в былой Речи Посполитой, в тонкости обращения едва ли не превзошедшей даже Западную Европу. Не прошло пяти минут от данного с вышки сигнала, как весь придворный штат, хоронившийся от дневной жары по своим покоям, был уже налицо. На пороге ожидали гостей сами хозяева: князь Константин и княгиня Урсула, не совсем уже молодая, но очень видная дама, в парадном костюме: темно-синем аксамитовом (бархатном) кубраке (дамский кунтуш) с горностаевой опушкой; в необычайно высоком корнете (головной убор из «газу» и «блондын»), так называемой «вавилонской башне»; с богатейшим диамантовым пунталом (ожерелье) на оголенной, полной как подушка шее; с драгоценными манелями (браслетами) и кольцами на столь же выхоленных руках. По сторонам стояли: около князя – маршал двора, пан Пузын, и секретарь, пан Бучинский; около княгини – статс-дамы и фрейлины ее. Вдоль всего портала, где должны были подъезжать один за другим экипажи, выстроились в два ряда ливрейные гайдуки и пажи, под наблюдением двух дежурных маршалков. За спиной хозяев, точно также в два ряда, вплоть до передней, растянулись высшие и низшие придворные чины.

Княжеские сыновья-подростки с их ментором-семинаристом, капеллан жалосцского замка, патер Лович, а также приезжие гости: патер Сераковский и пан Тарло оставались пока в доме – в гостинной.

За воротами, по подъемному мосту послышался, наконец, лошадиный топот, гул колес; вот донеслось и хлопанье бича... Все взоры устремились к воротам, на всех лицах выразилось самое напряженное любопытство: никто ведь еще не видел этого московского царевича! Сейчас должны были показаться скороходы, за ними окруженный вершниками ряд колясок и карет...

Но что же это такое? Ни скороходов, ни вершников; вкатился на двор один только громоздкий, допотопный рыдван, который с трудом волокла четверка исхудалых, разношерстных коней, хотя сидевший на козлах возница очень усердно работал над ними бичом.

– Пан Боболя! – вырвался у всех присутствующих крик разочарования.

Но этикет должен был быть в точности соблюден: никто не тронулся с места. Покачиваясь и скрипя на своих высоких рессорах, рыдван въехал под портал. Первою выползла оттуда старушка – пани Боболя; за нею были высажены три ее дочери-девицы.

Княгиня Урсула с самой любезной миной, к какой только было способно ее надменное, строгое лицо, выразила гостям свое восхищение «наконец-то» видеть у себя дорогих соседок, которых ждала-де и не могла Дождаться. Троекратно поцеловавшись с каждой, она повела их между низко преклоняющимися придворными в гостиную.

Тем временем гайдуки подняли под руки из глубокого кузова рыдвана и самого пана Боболю. Как подагрик, он опирался на костыль и неуверенно переставлял свои поджарые ножки, которым было не под силу держать даже его не грузное, но рыхлое тело. Подслеповатые, в бесчисленных морщинках глаза его рассеянно щурились; с отвислых губ его не сходила какая-то по-детски наивная улыбка.

– Много чести, ваша светлость, слишком много чести! – шамкал он в ответ на приветствие светлейшего хозяина. – К чему все это? Мы же старые соседи! Позвольте прижать вас к сердцу!

Князь Константин, по поводу такого самообольщения непрощеного гостя, вообразившего, очевидно, что для него устроен весь почетный прием, сердито усмехнулся, однако же крепко обнял его и подставил обе щеки.

– Мы, признаться, ожидаем сейчас московского царевича, – объяснил он.

– Московского царевича? – недоумевая, переспросил пан Боболя. – А, да, да, как же, помню, знаю! – сказал он таким тоном, что ясно было: ничего он не помнит, ничего не знает. – Тем более нам чести. Позвольте за то еще раз обнять вас!

После этого хозяином и гостем была разыграна в дверях сценка, которую двести с лишним лет спустя заставил Чичикова и Манилова разыграть Гоголь.

– Милости просим, дорогой пане, без чинов! – говорил князь, деликатно подталкивая пана Боболю ладонью в спину через порог в сени.

– После вас, князь, только после вас! – счел нужным упереться пан Боболя.

– Но в ваши лета... ваша многолетняя опытность, хотел я сказать... – поспешил поправиться хозяин.

– Мы, можно сказать, почти однолетки, но в опытности ваша светлость мне не уступите, о, нет! Родовой же сан ваш...

– Да ведь и в вашем роде, пане Боболя, как всей Польше известно, полных десять колен...

– А в вашем, князь, двенадцать...

– Помилуйте, что за счеты!

– А, нет, ваша светлость! Придворный этикет Боболи, слава Богу, в тонкости тоже изучили.

В конце концов, однако, князь Константин, как и подобало хозяину, любезно пропихнул вперед гостя, и тот вполборота, с виноватым видом, проковылял на своем костыле в сени, волоча за собою по полу свою старинную турецкую саблю.

Этим моментом воспользовался князь Вишневецкий, чтобы через плечо вполголоса приказать маршалу, следовавшему за ним с секретарем:

– Диду Павлу полсотни горячих!

Маршал тихо повторил то же приказание секретарю, а тот, в свою очередь, одному из дежурных маршалков, причем еще тише, так, чтобы маршал не слышал, прибавил от себя: «на ковре».

– Виноват, пане секретарь, – позволил себе возразить маршалок, – дид хоть и стар, но ковер при консекуциях установлен только для дворян... И если князь проведал бы...

– Исполняйте, любезнейший, что вам поручают, – мягко, но безапелляционно сказал пан Бучинский, – ответственность я беру на себя.

Между тем, светлейший с гостем своим проследовали в переднюю, а оттуда и в гостиную, причем в дверях оба раза не обошлось опять без церемониального препирательства о первенстве, но в заключение, как и в первый раз, гость уступал настояниям хозяина и вполоборота проходил впереди него.

Дам в гостиной уже не оказалось: пани Боболю княгиня Урсула увела в свой «альков», чтобы напоить там кофеем; девицы же Боболи с панной Мариной и ее фрейлинами упорхнули в парк. Началось формальное представление наличного мужского персонала. Патерам Сераковскому и Ловичу пан Боболя поцеловал благословляющую руку; зато пан Тарло и два княжича сами чинно подошли к руке старого пана. Гувернера-семинариста пан Боболя не счел нужным заметить, и тот, низко поклонившись спине его, отретировался к окошку.

Усаживание гостя на диван сопровождалось также требуемыми формальностями: гость упрашивал хозяина показать ему пример, а хозяин предоставлял почет этот гостю. Усадив, наконец, последнего, князь Вишневецкий точно теперь только заметил на госте саблю и обратился к нему с просьбой отвязать ее. Пан Боболя никак не соглашался, но потом, точно убежденный красноречием гостеприимного хозяина, дал отобрать у себя оружие и поставить в угол.

Около этих двух главных действующих лиц второстепенные сгруппировались в строгом порядке придворного этикета: ближе всех присели два духовных лица и маршал; далее пан Тарло. Что же касается остальной свиты, в том числе и секретаря, а также княжичей с их гувернером, то все они остались на ногах и в течение всего разговора не смели ни опереться, ни пошевеливаться, тем более непрошено вставить в беседу свое слово: нарушитель этикета без рассуждений был бы отправлен, наравне с простыми холопами, на конюшню, имея перед ними одно только преимущество – «ковер».

Гайдук с подносом, на котором красовался кувшин с домашней наливкой и несколько серебряных чарок, дал взаимным любезностям хозяина и гостя другое направление: князь собственноручно налил и с поклоном поднес пану Боболе полную чару; тот, немного починись, с видом знатока отведал душистого напитка и рассыпался в неумеренных похвалах ему. Князь долил ему чару и упрашивал пить во здравие. Гость снова приложился и торжественно провозгласил:

– За ваше здравие, князь, за здравие светлейшей княгини и всего вашего светлейшего рода!

Князь не преминул отпить с таким же пожеланием, и оба снова обнялись и трижды накрест поцеловались. Теперь только завязалась беседа о других предметах, и патер Сераковский весьма искусно сумел дать ей общий интерес.

Между тем на дворе сильно стемнело – стемнело не от сумерек, потому что солнце еще не садилось, а от надвигавшейся грозы.

– Как бы дождем царевичу дороги не испортило, – озабоченно заметил Вишневецкий.

– Царевичу? Какому царевичу? – переспросил опять забывчивый пан Боболя, усердно прикладываясь к чаре. – А, да, да, помню, знаю...

Крепкая, домашнего произведения наливка ударила ему в голову и расположила его к откровенности.

– А ловкая ж у меня пани моя, ух, какая ловкая!.. Хе-хе-хе! – заговорил он вдруг, самодовольно оглядываясь на всех окружающих прищуренными масляными глазами.

– Да, уж против пани Боболи барыни не найти, – с самой серьезной миной подтвердил хозяин, хотя предвидел уже со стороны гостя какую-нибудь колоссальную наивность. – Чем она теперь отличилась?

– Чем отличилась? – сказать уж, что ли?

– Просим, пане: премного обяжете.

– А что, – говорит, – не съездить ли нам опять в Жалосцы к Вишневецким? Дом-то у них полная чаша: на неделю досыта наедемся-напьемся, да и коняки наши кстати полакомятся, побанкетуют княжеским овсецом да сенцом.

– Очень рад гостям, – сказал Вишневецкий. – А вы, пане, что же на это?

– А я ей: «еда – едой, – говорю, – овес – овсом, а уж наливочки такой, как у нашего достоуважаемого ласкового князя воеводы, во всем мире поискать». Эх, никак весь кувшин до капли осушили? Знатное питье!

– Гей, хлопче! – крикнул хозяин, и хлопек подал про «дорогого гостя» кувшин вдвое объемистее первого и наполненный сладким и хмельным венгерским вином.

Опорожнив чару, пан Боболя окончательно охмелел и расчувствовался:

– Серденько-князь, голубочко моя! Как я люблю вас – и сказать не умею! Позвольте обнять вас!

Новые объятия и поцелуи.

– А пани Боболя вам на это что же? – спросил князь, стирая со щек своих следы влажных губ гостя.

– Пани-то моя что? – повторил тот, лукаво подмигивая слушателям. – Девочки у нас, – говорит, – на возрасте: пора пристроить; а из Самбора, слышно, понаехали к князю молодые рыцари; даст Бог, который-нибудь может и клюнет. Хе-хе!

Общий смех слушателей был прерван оглушительным громовым раскатом, за которым дождь за окнами полил как из ведра. Молнии следовали за молниями, громовой удар за ударом. Наступила внезапно такая темнота, что хозяин приказал подать огня. В это время раздался снова резкий сигнальный звонок.

– Наконец-то! – вскричал, вскакивая с дивана, князь. – По местам, Панове!

– По местам? – спросил пан Боболя, с недоумением глядя вслед хозяину, устремившемуся со всей своей придворной свитой к выходу.

– Это, видно, царевич, – объяснил патер Сераков-ский, оставшийся в числе немногих в гостинной.

– Царевич? А, да, да, помню, знаю... Но где же мои девочки? Ведь как знать...

## Глава одиннадцатая

### Первая встреча

Сменивший дида Павла на вышке замка шустрый малый Юшка забил тревогу недаром: под шумным ливнем, среди перекрестного огня молний, в ворота замка влетели сперва два скорохода князя Адама Вишневецкого, а следом за ними и весь княжеский поезд.

– Сама природа, ваше царское величество<sup>4</sup>, празднует вход ваш под мою убогую кровлю! – проговорил князь Константин, глубоко, но не униженно преклоняясь перед молодым царственным гостем.

– Надеюсь, по крайней мере, что не я причиной грозы при первой нашей встрече с вами, – шутливо отозвался царевич.

– Напротив, государь: гром и молния – небесные предвестники скорого торжества вашего над похитителем вашего прародительского престола, а проливной дождь – символ долгого, обильного плодотворными деяниями царствования.

– Лишь бы не потоков крови!.. – вздохнул Димитрий и подошел к ручке княгини Урсулы, которую представил ему тут супруг ее.

Княгиня приняла его учтивость как нечто должное, с покровительственной миной королевы, встречающей вассала, и обратилась тотчас к светлейшей свояченице, выходявшей тем временем из своей кареты.

Царевич не стал долго чиниться с хозяином, подобно пану Боболе, и на полшага впереди князя безостановочно направился в гостиную, милостиво кланяясь по сторонам выстроившимся в два ряда придворным.

Шедшему вслед за своим господином Михайле за редкость, конечно, было переступить порог настоящего польского вельможи, и вся своеобразная, роскошная обстановка замка, не менее торжественности самого приема, должна была поразить нашего дикаря. В обширных полутемных сенях, несмотря на летнее время, топилась исполинская печь, неровное пламя которой озаряло каким-то фантастически-мрачным светом стены, увешанные с большим вкусом всевозможными принадлежностями военного и охотничьего дела: дорогими шлемами, кирасами (латы) и тарчами (щиты), пищалями, мечами, чеканами (топорики) и ощепами (копья), луками, колчанами и стрелами, богатой конской сбруей, арапниками и проч.

В гостиной, уставленной шелковой мебелью, стены были сплошь обиты старинными коврами, шитыми бисером и разноцветными шелками; изображены же были на них эпизоды из жизни святых мучеников католической церкви. На самом видном месте, между окон, на высоком аналое возвышалось святое распятие из массивного серебра, а под распятием лежало громадное евангелие in folio в богатом переплете с золотыми застежками. Как бы для контраста, на сводчатом плафоне были очень эффектно расписаны летающие в облаках амуры и нимфы: христианское благочестие мирно уживалось здесь рядом с языческим поклонением красоте.

Началось обычное церемониальное представление царевичу всех присутствующих. Когда очередь дошла до пана Боболи, тот, хотя давеча далеко не твердо стоял уже на ногах и с усилием шевелил отяжелевшим языком, будто опять приободрился и без запинки, как заученный урок, изложил царевичу свою десятиколенную родословную; после чего, не давая царевичу отойти далее, сам подобострастно спросил его:

– А не сочтете ли, ваше царское величество, нескромным вопрос мой: как драгоценное ваше здоровье?

Димитрий чуть-чуть улыбнулся.

---

<sup>4</sup> По удостоверению современников, Вишневецкие титуловали Лжедмитрия I «величеством» еще на Волыни.

– Благодарю вас, пане.

– А смею ли еще спросить: здоровье вашего августейшего батюшки, царя московского?

Царевич насупился и вопросительно оглянулся на стоявшего около него хозяина: что это де за чудак такой?

– Вы не помните, пане Боболя, что говорите! – с сердцем заметил князь Константин, – царя Иоанна Васильевича, отца нашего царственного гостя, двадцать лет уже нет в живых.

– Какая жалость! Осмелюсь выразить вашему высочеству мое искреннее соболезнование. Не обращая уже на него внимания, царевич подошел к следующему.

– Да где же девочки-то мои? – растерянно говорил пан Боболя, озираясь кругом. – Куда они делись? Ах, да вот они, ваше высочество, вот они!

Большая стеклянная дверь с террасы со звоном распахнулась, и в гостиную рука об руку ворвались вихрем три неразлучные девицы Боболи. Но, Боже, что случилось с бедняжками! Ливень, очевидно, захватил их в парке врасплох. Дождевая вода струями бежала с них. Искусно взбитая прическа самым жалким образом растрепалась и прилипла ко лбу, к вискам; а воздушные летние платьица, из розового «флера», сейчас только еще такие пышные, насквозь промокли. На всех присутствующих один, кажется, только подслеповатый старик-отец не разглядел хорошенько их неприглядного наряда и поспешил отрекомендовать их царевичу:

– Это гордость моя, ваше высочество! Каковы, а? Я никогда ни с одной из них не расстаюсь. Разве что... Да куда же вы, дети?

Увидев вдруг перед собою лицом к лицу полную комнату мужчин, бедные барышни в первый миг совсем были ошеломлены, готовы были сквозь землю провалиться, но при рекомендации отца опомнились: «Ах, ах!» – и были таковы.

Короткая сцена эта вызвала у очевидцев не одну язвительную или сострадательную улыбку. Царевич также закусил губу и обратился к хозяину с каким-то вопросом; но что тот ему ответил – он уже не расслышал: взоры его приковались снова к двери с террасы.

На смену трех девиц Боболей, из парка появились еще две барышни: панна Марина и Маруся. (Панна Бронислава, еще с террасы, сквозь стеклянную дверь заведя в гостиную сборище мужчин, своевременно отретировалась). Но странное дело! Укрылись ли они лучше трех первых от дождя; были ли одеяния на них из более плотной ткани, или же стан их отличался большею грацией, как бы то ни было, пребывание их под ливнем нимало им не повредило. Лица обеих горели живым румянцем, глаза их искрились, влажные волосы и платья лоснились и отливали атласом; а выглянувшее в это время из-за туч вечернее солнце озолотило их с головы до ног как ореолом. Точно светлые существа иного, заоблачного мира спустились сюда, в среду простых смертных, – при виде их все кругом на мгновение замерло, окаменело. Панна Марина первая прервала очарование.

– Просим извинения, Панове, – с прелестным смущением проговорила она, отводя рукой с чела распустившуюся прядь волос. – Нам, как видите, надо обсушиться. Да и вам, может, не мешает?

Осветив мимоходом царевича Димитрия загадочно сияющим взглядом, она вместе с наперсницей скрылась.

– А и то ведь правда, ваше величество, – сказал князь Адам Вишневецкий, – не мешало бы нам почиститься, если не от дождя, то от пыли.

Димитрий, как околдованный, не трогался с места и глядел все еще вслед исчезнувшей очаровательнице.

– Кто это? – спросил он.

– А младшая сестра супруги моей, Марина Мнишек, – поспешил удовлетворить его любопытство хозяин. – Не взывайте, Бога ради, ваше величество! Она еще так молода, почти ребенок...

– О нет, ничего... Это скорее какая-то лесная русалка, а для русалок законы не писаны.

Стоявший в стороне, у входных дверей, с карликами князя Адама молодой гайдук царевича был, казалось, поражен не менее своего господина, и обратился к своим маленьким соседям вполголоса с таким же точно вопросом:

– Кто это?

– Да ведь слышал, чай, – отвечал шут Ивашка, – панна Марина Мнишек, дочь Сендомирского воеводы.

– Нет, другая, что была с нею – в русской одежде.

– Ага! Заприметил! Хороша, ой, хороша!

– Не Маруся ли Биркина?

– А ты, молодец, почем знаешь? Аль святым духом?

Михайло оставил вопрос без ответа, но тихо вздохнул и впал в грустную задумчивость.

Пока панна Марина с фрейлинами, а также царевич князь Адам Вишневецкий и вся свита меняли или чистили свое платье, чтобы предстать к ужину в обновленном виде, в покоях семьи Боболей шел большой переполох. Три паненки Боболи со слезами единодушно требовали немедленного возвращения восвояси. Ни резоны отца, ни угрозы матери не могли на этот раз поколебать их решимости. Полчаса спустя через подъемный мост замка снова прогромыхал старинный рыдван, увозя столько же несбывшихся надежд, как и неутоленных желудков.

Хозяевам, впрочем, было не до Боболей: князь Константин наскоро должен был еще условиться с братом Адамом о дальнейшем образе действий; княгиня же Урсула нашла сделать младшей сестре своей с глазу на глаз строгое внушение, которое возымело свое действие: когда перед ужином состоялось формальное представление панны Марины царевичу, тот едва узнал прежнюю русалку в этой «китайской царевне», разряженной, чопорной и важной, но не менее прелестной, – в этом разубранном «клейнотами», неоценимом, одушевленном «клейноте».

## Глава двенадцатая

### Кое-что о польском воспитании триста лет назад

Княжеская столовая в убранстве своем не уступала парадным покоям. По одной стене дубовые, с художественною резьбою полки щеголяли массивной посудой: позлащенными червлеными глеками (кувшины), пугарами (высокие кружки), ковшами, жбанами и чарками, золотыми «нюренбергскими» кубками, серебряными мисами и «талерками». Прочие стены были разубраны трофеями охоты: медвежьими мехами, оленьими и турьими рогами, кабаньими клыками. И тут, однако, как в гостиной, в красном углу бросалось в глаза изящной работы распятие, перед которым капеллан, патер Лович, первым делом прочел краткую молитву: Беседе за ужином богомольная хозяйка сумела дать также благочестиво-патриотическое направление.

Желая, очевидно, сказать нечто приятное хозяевам, царевич выразил сожаление, что на Руси не усвоено еще того утонченного обхождения и чинопочитания, которое он нашел здесь, в Речи Посполитой.

– А кто воспитал нас в таком страхе людском и Божьем? – спросила княгиня Урсула, мечтательно переглядываясь со своим духовником. – Наша святая римская церковь!

– Несомненно так, – подтвердил патер Сераковский, – наш ребенок польский, прежде чем научится читать по складам, должен уметь уже класть земные поклоны, лепетать за матерью установленные утренние и вечерние молитвы. *Non vitae, sed coelo discimus.* (Не для жизни мы учимся, а для неба.)

– Само собою разумеется, что примерная выправка наша дается нам не даром, – заметил светлейший хозяин. – Уже с самого нежного возраста словесные поучения подкрепляются у нас тонкой шелковой плеткой. С десятого же года, когда мальчики сдаются обыкновенно в иезуитскую школу, плетку на кафедре заменяет казацкая нагайка, а в высших классах, в случае надобности, то же дело исправляет шпанская трость. Чем выше класс, тем больше и число ударов: в низшем классе обходятся каким-нибудь десятком, в старшем никак не меньше, как полусотнею горячих. Зато, ваше величество, полюбуйте-ка: что у нас все за отборные молодцы! – закончил хозяин, указывая рукою на сидевшую за столом мужскую молодежь.

– Да, уж мы постоим за себя! – подхватил пан Тарло, дугою выгибая грудь и молодцевато озираясь на дам. – По себе скажу: всякий из нас тут испытал на горбе своем не одну тысячу плетей (само собою – на ковре, добавил он в скобках); но, как от плодотворного дождя, мы оттого только краше расцветали, мужали и плотью, и духом. Безграничное повиновение старшим и требование столь же безграничного повиновения от младших сделались нашей второй натурой. Иного человека в душе я, может, и презираю, ненавижу: но он чином выше меня – и я его покорный раб, улыбаюсь ему, говорю ему непринужденно и плавно любезности, которые ничего собственно не значат, ни к чему меня не обязывают, а все же ему лестны и приятны: коли нужно – обнимаю его колена, лобызаю руки, целую его в плечо, в уста... Зато, если ближний ниже меня, да успел еще навлечь на себя мою немилость, – горе ему! Я сброшу с себя мирную личину, выступлю истинным польским рыцарем – и нет ему пощады! Вот этим-то высшим воспитанием, ваше величество, мы, поляки, опередили ваших соотечественников, и все-то, как справедливо заметила наша светлейшая хозяйка, – заключил пан Тарло с рыцарским поклоном в сторону последней, – все только благодаря нашей латинской церкви!

Царевич, покусывая губу, терпеливо выслушал панегирик польскому рыцарству и латинской церкви.

– А сами вы, пане, позвольте узнать: по рождению поляк, или русский? – спросил он.

– По рождению, ваше величество, пан Тарло, пожалуй, русский, как и мы, Вишневецкие, – вступился тут князь Константин, видя, что запальчивый пан Тарло опять запетушился, – но польским воспитанием нашим мы гордимся, как гордимся и нашей единственной верой.

– Ты, любезный брат, говоришь это, конечно, только от себя? – возразил князь Адам. – Потому что хотя мы оба с тобой воспитаны в польском духе, но я до сей поры еще, слава Богу, не изменил вере отцов...

– Прошу тебя, брат Адам, по вопросам веры не распространяться в моем доме! – резко оборвал его хозяин, и пылавшие гневом глаза, налившиеся на лбу его жилы ясно говорили, что достаточно брату его сказать еще одно слово, чтобы между ними разыгралась бурная сцена.

Князь Адам, признавая авторитет хозяина и старшего брата, умолк и на весь вечер ступался. Царевич, желая отвлечь общее внимание от двух братьев, обратился к присутствующим дамам:

– А смею ли спросить, пани, как воспитывается у вас в Польше нежный пол? У нас, на Руси, боярышни, что цветы в теплице, весь век свой томятся в своих светелках «за тридевятью замочками, за тридесятью сторожочками», как в песнях наших поется. У вас же, поляков, сколько я успел заметить, на этот счет вольнее?

– Не только вольнее, ваше величество, сколько добропорядочнее, согласнее со строгою моралью, – отвечал патер Сераковский. – Наше дворянство точно также держит девиц своих до известного возраста взаперти, в четырех стенах, но не у себя на дому, а в женских монастырях. Под руководством достойных настоятельниц и сестер они вырастают там не в мраке невежества, а в лучах европейского просвещения и престола св. Петра. Самыми наглядными примерами такого монастырского воспитания могут служить вам достоуважаемая хозяйка настоящего замка, светлейшая княгиня Урсула, и прекрасная сестрица ее, панна Марина Мнишек.

– Блаженные годы невозвратного, чистого детства! – почти с девическою восторженностью заговорила княгиня Урсула, поднимая взоры к потолку. – С раннего утра, бывало, и до поздней ночи мы, «маленькие сестры», проводили в духовном бдении. На прогулках даже, мы говорили меж собой шепотом, а сидя за рукодельем, нашим главным занятием, по часам, бывало, молчали и слушали только нравоучительные речи наших строгих наставниц. О, детство, золотое детство!

– О, детство, золотое детство! – хором вздохнули на разные голоса сидевшие за столом статс-дамы, фрейлины и другие приживалки княгини, закатывая подобно ей глаза.

– Наукам в монастыре вас, стало быть, почти не обучали? – спросил царевич, безотчетно поглядывая на панну Марину, на розовых устах которой играла затаенная улыбка.

– Да много ли нам, женщинам, и надо этих ваших мирских наук? – с убежденностью отвечала княгиня. – Чтение, письмо, четыре правила арифметики – чего же больше?

Хозяйка говорила с увлечением и таким тоном, который не допускал возражений.

Панна Марина до сих пор позволила себе только однажды мимоходом вмешаться в общий разговор. Но сквозь надетую ею на себя маску «китайской царевны» не то неволью, не то умышленно у нее прорывалась девичья шаловливость: своей фрейлине Брониславе она шепнула что-то такое, от чего та закусила губу; а пану Тарло она лукаво кивнула на Марусю, и самоуверенный щеголь, поняв ее, со снисходительною любезностью начал занимать последнюю, не замечая, что молодая москалька нимало не польщена его вниманием. Непосредственно к царевичу Димитрию панна Марина ни разу не обращалась, но украдкой очень хорошо видела, что он не сводит с нее глаз. Но вот он и сам отнесся к ней.

– А вы, прекрасная пани, смею спросить, живя в монастыре, так же находили довольство и счастье, как сестрица ваша, в этом однообразном монашеском образе жизни?

Панна Марина смущенно потупилась.

– Это я не могу сказать... – пролепетала она и с милою робостью покосилась на сестру и иезуитов.

– Почему же?

– Потому что я была очень грешна.

– Какие же у вас могли быть грехи? Расскажите, пожалуйста.

– Я, право, не знаю... – нерешительно заговорила молодая панна. – За окнами, видите ли, бывало, весна и солнце; птицы щебечут; деревья стучатся зелеными ветками в стекла, будто зовут нас в сад, в поле, на воздух и волю... А мы, девочки, сиди себе в келье, как осужденные, за пяльцами, за белоручным шитьем, не смей головы поднять, спины разогнуть, слова пикнуть. Ну, и зарождаются в голове разные мысли; начинаешь придумывать, как бы напроказить, подурачиться...

– Но, Марина!.. – возмутилась княгиня Урсула.

– Извините, княгиня, – сказал заинтересованный царевич, – дайте досказать вашей сестрице.

– Я же говорила, что я очень грешна, – почти с сокрушением продолжала панна Марина. – Я очень хорошо теперь понимаю, как дурно мы, дети, поступали, когда ночью, чтобы попугать взрослых «сестер», вставали потихоньку с постелей и в простынях, белыми привидениями, разгуливали по коридорам.

– И другие грехи ваши, пани, были не более тяжки?

– Чего же еще?..

## Глава тринадцатая

### **Vivat demetrius ioannis, monarchiae moscoviticae dominus et rex!**

Ужин шел к концу. В чарах и кубках заискрились бастры и мушкетель.

– Доргие гости! – возгласил хозяин. – У меня припасена для вас еще такая колляция (угощение), какой вы верно никогда не едали. Позвать Юшку! – приказал он одному из слуг.

Юшка, видно, ждал уже за дверьми и, вбежав в столовую, тут же бухнул в ноги царевичу.

– Благословен Господь во веки веков, что сподобил узреть опять пресветлых очей твоих, нашего батюшки, царевича русского! – вскричал он и подобострастно поднес к губам полу богатого кунтуша царевича.

– Так ты разве уже видел меня прежде? – с радостною недоверчивостью спросил Димитрий.

– Как не видать, родимый; вон эдаким мальчугой еще знал тебя! – говорил Юшка, в умилении утирая глаза.

– А где?

– В Угличе, надежа государь; где же больше? С утра до вечера, почитай, играл ты там на царском дворе с жильцами; смотреть на вас с улицы никому ведь невозбранно. Сам-то я тоже тогда подростком еще был; так с теткой своей Анисьей единожды у Орины, кормилицы твоей, в гостях даже побывал, говорил с тобой, государь, а ты меня еще из собственных рук царских пряником печатным пожаловал. Аль не упомнишь?

– Да, как будто было что-то такое...

– И где же тебе, царскому сыну, всякого холопа в лицо помнить! А уж я то тебя, кормилец, с места признал. Хошь было тебе в ту пору много что шесть годков, а по росту, пожалуй, и того меньше, но в груди ты был что теперь широк, с лица был точно также темен, волосики на голове тоже щетинкой, да в личике те же бородавочки: одна вон на челе, другая под глазком. Господи, Господи! Благодарю Тебя! Внял Ты мольбе моей!

Широко осенив себя крестом, Юшка несколько раз стукнулся лбом об пол.

– Ты сразу узнал меня, говоришь ты, – в видимом возбуждении произнес царевич, – но не было ли у меня еще особых примет?

– Как же, государь, были: Орина нам тогда ж их показывала.

– Какие же то были приметы?

Если уже до сих пор общее внимание присутствующих было сосредоточено на царевиче и Юшке, то теперь можно было расслышать полет мухи.

– Да одна рученька у тебя была подлиннее другой.

Царевич молча протянул перед собой обе руки: правая рука его, точно, оказалась по меньшей мере на вершок длиннее левой.

– И еще что же?

– А на правой же ручке твоей, пониже локтя, было пятнышко родимое, якобы миндалина подгорелая.

Царевич засучил обшлаг правого рукава до локтя: на смуглой, мускулистой руке его, под самым изгибом локтя чернело в самом деле миндалевидное родимое пятно.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.